

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ  
СОЧИНЕНІЙ  
**Н. С. ЛѢСКОВА.**

ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

съ критико-біографическимъ очеркомъ Р. П. Сементковскаго и съ приложеніемъ портрета Лѣскова, гравированнаго на стали Ф. А. Брокгаузомъ въ Лейпцигѣ.

ТОМЪ СЕДЬМОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1902 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.  
Изданіе А. Ф. МАРКСА.  
1902.



Типография А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.

# ОБОЙДЕННЫЕ.

РОМАНЪ ВЪ 3-ХЪ ЧАСТЯХЪ.

1



## Часть третья.

### ГЛАВА ПЕРВАЯ.

#### Живая душа выгораетъ и куется.

Ничего не было ни хорошаго, ни радостнаго, ни утѣшительнаго въ одинокой жизни Анны Михайловны. Срублена она была теперь подъ самый корень и въ утѣшеніе ей не оставалось даже того гадкаго утѣшенія, которое люди умѣютъ находить въ ненависти и злости. Анна Михайловна была не такой человѣкъ, и Дора не безъ основанія часто называла ее «невозможною».

Въ тотъ самый день, ниццкими событіями котораго заключена вторая часть нашего романа, именно наканунѣ св. Сусанны, что въ Петербургѣ приходилось, если не ошибаюсь, около конца пыльнаго и непріятнаго мѣсяца іюля. Аннѣ Михайловнѣ было ужъ какъ-то особенно, какъ передъ пропастью, тяжело и скучно. Цѣлый день у нея валилась изъ рукъ работа и едва-едва она дождалась вечера и ушла посидѣть въ свою полутемную комнату. На дворѣ было около десяти часовъ.

Въ это время къ квартирѣ Анны Михайловны шибко подкатилъ на лихачѣ молодой бѣлокурый баринъ, съ туго завитыми кудрями и самой испитой, ничего не выражающей физиономіей. Онъ быстро снялся съ линейки, велѣлъ извозчику ждать себя, обдернулъ полы шикарнаго пальто-пальмерстона и, вставивъ въ правый глазъ стеклышко, скрылся за рѣзными дверями параднаго подъѣзда.

Черезъ минуту этотъ господинъ позвонилъ у магазина

и спросилъ Долинскаго. Дѣвушка отвѣчала, что Долинскаго нѣтъ ни дома, ни въ Петербургѣ. Гость сталъ добиваться его адреса.

— А лучше всего,—просилъ онъ:—попросите мнѣ пови-  
даться съ хозяйкой.

«Что ему нужно такое?»—раздумывала Анна Михайловна, вставая и оправляясь.

Гость между тѣмъ топоталъ по магазину, въ которомъ отъ него разносился запахъ гостинодворскаго эс-букета.

— Мое почтеніе!—развязно хватилъ онъ при появленіи въ дверяхъ хозяйки и тряхнулъ себя циммермановской шляпой по ляжкѣ.

Анна Михайловна не просила его садиться и сама не сѣла, а остановилась у шкапа.

Анна Михайловна знала почти всѣхъ знакомыхъ Долинскаго, а этого господина припомнить никакъ не могла.

— Вамъ угодно адресъ Нестора Игнатьича?—спросила она незнакомаго гостя.

— Да-съ, мнѣ нужно ему бы отослать письмоце.

— Адресъ его просто въ Ниццу, *poste restante*.

— Позвольте просить васъ записать.

— Да, я говорю, просто: *Nice, poste restante*.

— Вы къ нему пишете?

Анна Михайловна взглянула на безцеремоннаго гостя и спокойно отвѣчала:

— Да, пишу.

— Нельзя ли вамъ переслать ему письмоце?

— Да вы отошлите просто въ Ниццу.

— Нѣтъ, что жъ тамъ еще разсылаться! Сдѣлайте ужъ милость, передайте.

— Извольте.

— А то мнѣ некогда возжаться.—Гость подаль конвертъ, написанный на имя Долинскаго очень дурнымъ женскимъ почеркомъ, и сказалъ:—это отъ сестры моей.

— Позвольте же узнать, кого я имѣю честь у себя видѣть?

— Митрофанъ Азовцевъ,—отвѣчалъ гость.

— Азовцевъ, Азовцевъ,—повторяла въ раздумьѣ Анна Михайловна:—я какъ будто слыхала вашу фамилію.

— Несторъ Игнатьичъ женатъ на моей сестрѣ,—отвѣчалъ гость, радостно осклабяясь и показывая рядъ нестерпимо глупыхъ бѣлыхъ зубовъ.

Теперь и почеркъ, которымъ былъ надписанъ конвертъ, показался знакомымъ Аннѣ Михайловнѣ, и что-то кольнуло ее въ сердце. А гость продолжалъ ухмыляться и съ радостью рассказывалъ, что онъ давно живетъ здѣсь въ Петербургѣ, служитъ *на конторѣ*, и очень давно слыхалъ про Анну Михайловну очень много хорошаго.

— Моя сестра, разумѣется, какъ баба, сама виновата,— произнесъ онъ, зареготовивъ жеребчикомъ: — ядовита она у насъ очень. Но я Нестора Игнатьича всегда уважалъ и буду уважать, потому что онъ добрый, очень добрый былъ для всѣхъ насъ. Маменька съ сестрою тамъ какъ имъ угодно: это ихъ дѣло. Онѣ у насъ два башмака—пара. На обухѣ рожь молотятъ и зерна не уронять.—Азовцевъ зареготалъ снова.

Анна Михайловна созерцала этотъ экземпляръ молча, какъ воды въ ротъ набравши.

Экземпляръ поговорилъ-поговорилъ и почувствовалъ, что пора и честь знать.

— До свиданья-съ, — сказалъ онъ, наконецъ, видя, что ему ничего не отвѣчаютъ.

— Прощайте,—отвѣчала Анна Михайловна и позвонила дѣвушкѣ.

— Очень радъ, что съ вами познакомился.

Анна Михайловна поклонилась молча.

— Къ намъ на контору, когда мимо случится, милости просимъ.

Хозяйка еще разъ поклонилась.

— Нѣтъ, что жъ такое! — разговаривалъ гость, поправляя палецъ перчатки. — Къ намъ часто даже довольно дамы заходятъ, чаю выкушать или такъ отдохнуть.— Пожалуйста, будьте столько добры!

— Хорошо-съ, — отвѣчала Анна Михайловна. — Когда-нибудь.

— Сдѣлайте ваше такое одолженіе!

— Зайду-съ, зайду, — отвѣчала, чтобъ отвязаться, Анна Михайловна.

Проводя гостя, она нѣсколько разъ прошлась по комнатѣ, взяла письмо, еще прочла его адресъ и опять положила конвертъ на столъ. «Письмо отъ его жены! — думала Анна Михайловна.—Распечатать его, или нѣтъ?—Лучше отослать ему. А если тутъ что-нибудь неприятное? Если опять ка-

кой-нибудь глупый фарсъ? Зачѣмъ же его огорчать? зачѣмъ попусту тревожить?» — Анна Михайловна взялась за конвертъ и положила палецъ на сургучъ, но опять задумалась. «Становится между мужемъ и женой! — Нѣтъ, не годится», — сказала она себѣ и положила письмо опять на столъ. Вечеръ прошелъ, подали закуску. Анна Михайловна ѣла очень мало и въ раздумьѣ глядѣла на m-lle Alexandrine, глотавшую все съ аппетитомъ, въ которомъ голодный волкъ, хотя немножко, но все-таки, однако, уступаетъ французской двадцатипятилѣтней гризеткѣ. Послѣ ужина опять письмо завертѣлось въ рукахъ Анны Михайловны. Ей, какъ Шпекину, въ одно ухо что-то шептало: «не распечатывай», а въ другое — «распечатай, распечатай!» Она вспомнила, какъ Даша говорила: — «нѣтъ, мои ангельчики! Если бъ я когда полюбила женатаго человѣка, такъ ужъ — слуга покорная — чьи бы то ни были, хоть бы самыя законныя старыя права на него, все бы у меня покончились». — «Въ самомъ дѣлѣ! — подумала Анна Михайловна, — что жъ такое; если въ письмѣ нѣтъ для него ничего непріятнаго, я его отошлю ему; а если тамъ однѣ мерзости, то... подумаю, какъ ихъ сгладить, и тоже отошлю». — Она зажгла свѣчу въ комнатѣ Долинскаго и распечатала конвертъ.

На скверной, пзмятой почтовой бумажкѣ, рыжими чернилами было написано слѣдующее:

«Вы честнымъ словомъ обязались высылать мнѣ ежегодно пятьсотъ рублей и пожертвовали мнѣ какой-то глупый вексель на вашу сестру, которой уступили свою часть вашего кievскаго дворца. Я, по неопытности, приняла этотъ вексель, а теперь, когда мнѣ понадобились деньги, я вмѣсто денегъ имѣю только однѣ хлопоты. Вы, конечно, очень хорошо знали, что это такъ будетъ, вы знали, что мнѣ придется выдирать каждый грошъ, когда уступили мнѣ право на вашу часть. Я понимаю всѣ ваши подлости».

Анна Михайловна пожала плечами и продолжала читать далѣе:

«Возьмите себѣ назадъ эту уступку, а я хочу имѣть чистыя деньги. Потрудитесь мнѣ тотчасъ ихъ выслать по почтѣ. Вы зарабатываете болѣе двухсотъ рублей въ мѣсяцъ и половину можете отдать женѣ, которая всегда могла бы быть счастлива съ лучшимъ человѣкомъ, который бы цѣнилъ ее, если бы вы не завязали ея вѣкъ. Если вы не



захотите этого сдѣлать — я вамъ покажу, что васъ заставить сдѣлать. Вы можете тамъ жить хоть не съ одною модисткой, а съ двадцатью разомъ — вы развратникъ были всегда и мнѣ до васъ дѣла нѣтъ. Но вы должны помнить, что вы воспользовались моею неопытностью и довели меня до гибельнаго шага, что вы теперь обязаны меня обезпечить и что я имѣю право этого требовать. У меня есть люди, которые за меня заступятся, и если вы не хотите поступать честно, такъ васъ хорошенько проучать, какъ негодяя. Я не прежняя беззащитная дѣвочка, которую вы могли вертѣть, какъ хотѣли».

Анна Михайловна разсмѣялась.

«Я выведу на чистую воду, — продолжала въ своемъ письмѣ m-me Долинская: — и покажу вамъ, какая разница между мною и обирающей васъ метреской».

На щекахъ у Анны Михайловны выступили пятна негодованія. Она вздохнула и продолжала читать далѣе:

«Я осрамлю и васъ, и ее на цѣлый свѣтъ. Вы жалуетесь, что я васъ выгнала изъ дома, такъ ужъ все равно — жалуйтесь, а я васъ выгоню еще и изъ Петербурга вмѣстѣ съ вашей шлюхой».

Письмо этимъ оканчивалось. Анна Михайловна сложила его и внутренне радовалась, что она его прочитала.

— Какая гадкая женщина! — сказала она сама съ собою, глядя письмо въ столикъ и доставая оттуда почтовую бумагу. Лицо Анны Михайловны приняло свое спокойное выраженіе, и она, выбравъ себѣ перо по рукѣ, писала слѣдующее:

«Милостивая государыня!

«Прялагаемые при этомъ письмѣ триста рублей прошу васъ получить въ число пятисотъ, требуемыхъ вами отъ вашего мужа. Остальные двѣсти вы аккуратно получите ровно черезъ мѣсяць. Бумагу, открывающую вамъ счетъ съ сестрою господина Долинскаго, потрудитесь удержать у себя. Неполученіе вашихъ денегъ отъ его сестры, вѣроятно, не выражаетъ ничего, кромѣ временнаго расстройства ея дѣлъ, которое, конечно, минется, и вы снова будете получать, что вамъ слѣдуетъ. Мужа вашего здѣсь нѣтъ и его совѣтъ нѣтъ въ Россіи. Письма вашего онъ не получитъ. Вамъ отвѣчаетъ, вмѣсто вашего мужа, женщина, которую вы называете его метреской. Она считаетъ

себя въ правѣ и въ средствахъ успокоить васъ насчетъ денегъ, о которыхъ вы заботитесь, и позволяетъ себѣ просить васъ не прибѣгать ни къ какимъ угрожающимъ мѣрамъ, потому что онѣ вовсе не нужны и совершенно бесполезны».

Написавши это письмо, Анна Михайловна вложила его въ конвертъ вмѣстѣ съ тремя радужными бумажками и спокойно легла въ постель, сказавъ себѣ:

— Слава Богу, что только всего горя.

Черезъ день у ней былъ Журавка съ своей итальянкой, и, если читатель помнитъ ихъ разговоръ у шкапика, гдѣ художникъ пилъ водченку, то онъ припомнитъ себѣ также и то, что Анна Михайловна была тогда довольно спокойна и даже шутила, а потомъ только плакала; но не это письмо было причиной ея горя.

Послѣ новаго года, предъ наступленіемъ котораго Анна Михайловна уже нимало не сомнѣвалась, что въ Ниццѣ дѣло пошло анекдотомъ, до чего даже домыслился и Илья Макаровичъ, сидя за своимъ мольбертомъ въ своей одиннадцатой линіи, пришло опять письмо изъ губерніи. На этотъ разъ письмо было адресовано прямо на имя Анны Михайловны.

Юлочка настрочила въ этомъ письмѣ Аннѣ Михайловнѣ кучу дерзкихъ намековъ и въ заключеніе сказала, что теперь ей извѣстно, какъ люди могутъ быть безстыдно наглы и мерзки, но что она никогда не позволитъ человѣку, загубившему всю ея жизнь, ставить ее на одну доску со всякой встрѣчной; сама пріѣдетъ въ Петербургъ, сама пойдетъ всюду безъ всякихъ протекцій и докажетъ всѣмъ милымъ друзьямъ, что она можетъ сдѣлать.

Анна Михайловна, прочитавъ письмо, произнесла про себя: «дура!» потомъ положила его въ корзинку и ничего на него не отвѣчала. Ей очень жаль было Долинскаго, но она знала, что здѣсь нечего дѣлать, и давно рѣшила, что въ этомъ случаѣ всего нужно выжидать отъ времени. Анна Михайловна хорошо знала жизнь и не кидалась ни на какія бесполезныя схватки съ нею. Она ей не уступала безъ боя того, что считала своимъ достояніемъ по человѣческому праву, и не боялась боевыхъ мукъ и страданій; но, дорожа своимъ силами, разумно терпѣла тамъ, гдѣ оставалось одно изъ двухъ—терпѣть и надѣяться, или быть отброшенной и

злюбоваться, или жить только по великодушной милости пообдителей.

Она не видѣла ничего опаснаго въ своей системѣ и была увѣрена, что она ничего не потеряла изъ всего того, что могла взять, а что ужъ потеряно, того, значить, взять было невозможно по самымъ естественнымъ и, слѣдовательно, самымъ сильнымъ причинамъ. Она сама ничего легкомысленно не бросала, но и ничего не вырывала насильно; жила по душѣ и всѣмъ предоставляла жить по совѣсти. Этой простой логики она держалась во всѣхъ болѣе или менѣе важныхъ обстоятельствахъ своей жизни и не измѣнила ей въ отношеніи къ Долинскому и Дорушкѣ, разорвавшимъ ея скромное счастье.

— Пусть будетъ, что будетъ,—говорила сама събѣ Анна Михайловна:—тутъ ужъ ничего не сдѣлаешь,—и продолжала писать имъ письма, полныя участія, но свободныя отъ всякихъ нѣжностей, которыя могли бы ихъ беспокоить, шевеля въ ихъ памяти прошедшее, готовое всегда встать тяжелымъ укоромъ настоящему.

А что дѣлали, между тѣмъ, въ Ниццѣ?

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

### Ницца.

Крылатый божокъ, кажется, совсѣмъ поселился въ трехъ комнаткахъ m-me Бюжаръ, и другимъ темнымъ и свѣтлымъ божествамъ не было входа къ обитателямъ скромной квартиры съ итальянскимъ окномъ и густыми зелеными занавѣсками. О поѣздкѣ въ Россію, разумѣется, здѣсь ужъ и рѣчи не было, да и о многомъ, о чемъ слѣдовало бы вспомнить, здѣсь не вспоминали и рѣчей не заводили. Страстная любовь Доры совершенно овладѣла Долинскимъ и не давала ему еще пока ни призадуматься, ни посмотрѣть въ будущее.

— Боже мой, какъ мы любимъ другъ друга!—восхищалась Даша, сжимая голову Долинскаго въ своихъ розовыхъ, свѣженькихъ ручкахъ.

Несторъ Игнатьичъ обыкновенно застѣнчиво молчалъ при этихъ страстныхъ порывахъ Доры, но она и въ этомъ молчаніи ясно читала всю необъятность чувства, зажженного ею въ душѣ своего любовника.

— Ты меня ужасно любишь? Ты никого такъ не любишь,

какъ меня?— спрашивала она снова, стараясь добиться отъ него желаемого слова.

— Я всею душою люблю тебя, Дора.

Даша весело вскрикивала и еще безумнѣе, еще жарче ласкала Долинскаго.

Разговоры ихъ никто бы не записалъ, да они всеѣмъ бы и наскучили. Все ихъ разговоры были въ этомъ родѣ, а разговоры въ этомъ родѣ могутъ быть вполне понятны только для того существа, которое, прочитавъ эти строчки, можетъ склонить къ себѣ любимую головку и почувствовать то, что чувствовали Даша и Долинскій. Анна Михайловна говорила правду, что они ни о чемъ не думали и только «любились». А время шло. Со дня святой Сусанны минуло болѣе пяти мѣсяцевъ. Въ Ниццу опять пріѣхало изъ Россіи давно жившее тамъ семейство Онучиныхъ. Семейство это состояло изъ матери, происходящей отъ древняго русскаго княжескаго рода, сына — молодого человѣка, очень умнаго и непомѣрно строгаго, да дочери, которая подъ Новый годъ была въ магазинѣ «M-me Annette» и вызвалась передать ея поклонъ Дашѣ и Долинскому. Мать звали Серафимой Григорьевной, сына — Кирилломъ Сергѣевичемъ, а дочь — Вѣрой Сергѣевной. Семейство это было немного знакомо съ Долинскимъ.

Возвратясь въ Ниццу, Вѣра Сергѣевна со скуки вспомнила объ этомъ знакомствѣ и какъ-то послала просить Долинскаго побывать у нихъ когда-нибудь за-просто. Несторъ Игнатьевичъ на другой же день пошелъ къ Онучинымъ. Въ пять мѣсяцевъ это былъ его первый выходъ въ чужой домъ. Въ эти пять мѣсяцевъ онъ одинъ никуда не выходилъ, кромѣ кофейни, въ которой онъ изрѣдка читалъ газеты, и то Доружка обыкновенно ждала его гдѣ-нибудь или на бульварѣ, или тутъ же въ кафе.

Вѣра Сергѣевна встрѣтила Долинскаго на террасѣ, окружавшей домикъ, въ которомъ они жили. Она сидѣла и разрѣзывала только что полученную французскую иллюстрированную книжку.

— Здравствуйте, м-г Долинскій!— сказала она, радушно протягивая ему свою длинную бѣлую руку.— Берите стулъ и садитесь. Мамап еще не вышла, а брата нѣтъ дома— поскучайте со мною.

Долинскій принесъ стулъ къ столу и сѣлъ.

— Какъ поживаете?—спросила его Вѣра Сергѣевна.

— Благодарю васъ: день за день, все по-старому.

— Рвешься изъ Россіи въ эти чужіе края, — резонировала дѣвушка:—а прійдешь сюда—и здѣсь опять такая же скука.

— Да, тутъ въ Ниццѣ, кажется, не очень веселятся.

— А вы никуда не выѣзжали?

— Нѣтъ, я не выѣзжала.

— Что жъ, вы... много работаете?

— Такъ... какъ нѣмцы говорятъ: «etwas».

— Sehr wenig, значить.

— Очень мало.

— Но, конечно, будете такъ любезны, что прочтете намъ то, что написали.

— Полноте, Вѣра Сергѣевна! Что вамъ за охота слушать мое кропанье, когда есть столько хорошихъ вещей, которыя вы можете прочесть и съ удовольствіемъ, и съ пользою.

— Униженіе паче гордости, — шутливо замѣтила Вѣра Сергѣевна и, оставивъ этотъ разговоръ, тотчасъ же спросила:—а что дѣлается съ вашей очаровательной больной?

— Ей лучше,—отвѣчала Долинскій.

— Я видѣла ея сестру.

— А-а! гдѣ же это?

Вѣра Сергѣевна рассказала свое свиданіе съ Анной Михайловной, какъ будто совсѣмъ не смотря на Долинскаго, но, впрочемъ, на лицѣ его и не видно было никакой особенно замѣчательной переменны.

— И больше ничего она не говорила?

— Нѣтъ. Она сказала, что вы часто переписываетесь.

Тутъ Несторъ Игнатьевичъ слегка покраснѣлъ и отвѣчалъ:

— Да, это правда.

— Что вы не курите, monsieur Долинскій, хотите папирску?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не курю.

— Вы, кажется, курили.

— Да, куриль, но теперь не курю.

— Что же это за воздержаніе?

— Такъ, что-то надоѣло. Хочу воспитывать въ себѣ волю, Вѣра Сергѣевна,—шутить Долинскій.

— А, это очень полезно.

— Только боюсь, не поздненько ли это нѣсколько?

— Ну, *mieux tard...*

— *Que jamais* — замѣчаніе во всѣхъ другихъ случаяхъ совершенно справедливое,—подсказалъ Долинскій.

— Не собираетесь въ Россію?—спросила Вѣра Сергѣевна послѣ короткой паузы.

— Нѣтъ еще.

— А тамъ новостей, новостей!

— Будьте милостивы, расскажите.

М-ле Онучина рассказала нѣсколько русскихъ новостей, которыя только для нея и были новостями и которыя Долинскій давно зналъ изъ иностранныхъ газетъ. Старая Онучина все не выходила. Долинскій посидѣлъ около часу, простился, общалъ заходить и ушелъ съ полной рѣшимостью не исполнять своего обѣщанія.

— Что ты тамъ сидѣлъ такъ долго?—спросила его Даша, встрѣчая на крыльцѣ, съ лицомъ въ одно и то же время и веселымъ, и нѣсколько тревожнымъ.

— Всего часъ одинъ только, Дора, — отвѣчалъ покорно Долинскій.

— Часъ! какъ это странно...—нетерпѣливо сорвала Дора и остановилась, чувствуя, что говорить не дѣло.

— Нельзя же было, Дора.

— Ну, да... очень можетъ быть. Ну, что жъ тебѣ рассказали?

— Ничего. Просто поклонъ привезли.

— Отъ Анны?

— Да.

Оба долго молчали. Даша сидѣла, сложя руки, Долинскій съ особеннымъ тщаніемъ выбивалъ щелчками пыль, наставшую на его бѣлой фуражкѣ.

— Что жъ еще рассказывали тебѣ? — спросила, поправляясь на диванѣ, Даша.

— Ничего, Дора.

— Какъ это глупо!

— Что не рассказывали-то?

— Нѣтъ, что ты скрытничаетъ.

— О новостяхъ говорила *m-lle Véra*.

— О какихъ?

— Ну, все старое. Я тебѣ все давно говорилъ.

— Чего жъ ты такимъ сентябремъ смотришь?

— Что тебѣ кажется! Тебѣ просто посердиться хочется.

— Первый туманъ,—сказала Даша, спокойно давая ему свою руку.

— Какой туманъ?

— На лбу у тебя.

— Ну, что ты сочиняешь вздоры, Даша!

— Не будь, сдѣлай милость, ничтожнымъ человѣкомъ. Нашъ мостъ разоренъ! Наши корабли сожжены! Назадъ идти нельзя. Будь же человѣкомъ, ужъ если не съ волею, такъ хоть съ разумомъ.

— Да чего ты хочешь, Даша?

Даша вмѣсто отвѣта посмотрѣла на него искоса очень пристально и съ легкой презрительной гримаской.

— Я жъ люблю тебя!—успокивалъ ее Долинскій.

— И боишься.

— Чего?

— Прощлаго.

— Богъ знаетъ, что тебѣ сегодня кажется.

— То, что есть на самомъ дѣлѣ, мой милый.

— Напрасно; я только думаю, что честнѣе было бы съ нашей стороны обо всемъ написать...

Даша задумалась и потомъ, вздохнувъ, сказала:

— Я сама знаю, что нужно дѣлать.

Вечеромъ, по обыкновенію, они сидѣли на холмикѣ и въ первый разъ порознь думали.

— Ты ничего не работаешь?—спросила Даша.

— Ничего, Дора.

— Я тоже ничего.

— Что жъ тебѣ работать!

— А деньги у насъ есть еще?

— Не безпокойся, есть.

— Работай что-нибудь, а то мнѣ стыдно, что я мѣшаю тебѣ работать.

— Чѣмъ же ты-то мѣшаешь?

— Да вотъ тѣмъ, что все ты возлѣ меня вертишься.

— Гдѣ же мнѣ еще быть, Дора?

— И это, конечно, правда,—сказала съ задумчивой улыбкой Даша и, не спѣша пригнувъ къ себѣ голову Долинскаго, поцѣловала его и вздохнула.

Тихо они встали и пошли домой.

— Какой ты покорный! — говорила Даша, усѣвшись отдохнуть на диванѣ и пристально глядя на Долинскаго.— Смѣшно даже смотрѣть на тебя.

— Даже и смѣшно?

— Да какъ же!—Не курить, не ходить никуда, въ глаза мнѣ смотреть, какъ падишаху какому-нибудь.

— Это все тебѣ такъ кажется.

— Зачѣмъ ты пересталъ курить?

— Наскучило.

— Врешь!

— Право, наскучило.

— Право, врешь. — Ну, говори правду. Чтобы дыму не было—да?

Долинскій улыбнулся и качнулъ въ знакъ согласія головой.

— Чѣмъ ты меня любишь?

— Какъ—чѣмъ?

— Вѣдь, у тебя сердце все размѣненное, а любить можно разъ въ жизни,—сказала, смѣясь, Даша.

— Ну, почему жъ я это знаю.

— А что, если бъ я умерла?

Долинскій даже поблѣднѣлъ.

— Полно, полно, не пугайся,—отвѣчала Даша, протягивая ему свою ручку.—Не сердись—я, вѣдь, пошутила.

— Какія же шутки у тебя!

— Вотъ странный чловѣкъ! Я думаю, я и сама не имѣю особеннаго влеченія умирать. Я боюсь тебя оставить. Ты съ ума сойдешь, если бъ я умерла?

— Боже спаси.

— Буду жить, буду жить, не бойся.

Утромъ Несторъ Игнатьевичъ покойно спалъ въ ногахъ на Дорушкиной постели, а она рано проснулась, сѣла, долго внимательно смотрѣла на него, потомъ подняла волосы съ его лица, тихо поцѣловала его въ лобъ и, снова опустившись на подушки, проговорила:

— Боже мой! Боже мой! что съ нимъ будетъ? Что мнѣ съ нимъ сдѣлать?

Опять все за грудь стала Даша частенько потрогиваться, какъ только оставалась одна. Но при Долинскомъ она, по-прежнему, была веселою и покойною, только, кажется, становилась еще нѣжнѣе и добрѣе.



- Напишу я, Даша, Аняѣ,—говорилъ ей Долинскій.  
— Что жъ ты ей напишешь?  
— Что я тебя больше всего на свѣтѣ люблю.  
— Она это и такъ знаетъ!—улыбаясь, отвѣтила Даша.  
— Почему ты думаешь?  
— Я это знаю.  
— Все же надо написать что-нибудь.  
— Нечего писать что-нибудь.  
— Нѣтъ, по-моему, все-таки лучше писать *ничего*, чѣмъ ничего не писать.  
— Подожди. Я напишу сама,—отвѣчала послѣ минутной паузы Дора.  
А все не писала.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Цвѣтутъ въ полѣ цвѣтики да померкнуть.

Мартъ прошелъ. Дашѣ ужъ немоготу стало скрывать своего нездоровья и съ лица она стала измѣняться.

— Весна, вѣрно, у насъ начинается,—сказала она одинъ разъ Долинскому.

Долинскій понялъ Дашино вступленіе и мгновенно поблѣднѣлъ.

— Слабость у меня какая-то во всемъ тѣлѣ,—пояснила Дора.

— Чтò съ тобою?

— Ничего, а такъ—слабость.

— Господи! Дорушка! счастье мое, да чтò жъ это съ тобой?

— Ничего, ничего. Слабость маленькую все чувствую, и больше ничего.

А доктора звать ни за что не хотѣла.

Кашель сталъ появляться и жаръ по ночамъ обнаруживался.

— Какой ты забавный!—говорила Даша, откашливаясь, смотря на Долинскаго. — Я кашляю, а его точно давить что-нибудь! — откашливается по обязанности. Ну, чего ты морщишься?—весело спросила она и засмѣялась.

— Не смѣйся такъ, Дора.

— Чего жъ плакать, мой другъ?

— Боюсь я за тебя.

— Чего?—Что я умру?

Долинскій смотрѣлъ на нее молча и мѣнялся въ лицѣ.

— Ты умри со мной.

— Полно шутить.

— Ага! любишь, любишь, а умирать вмѣстѣ не хочешь,— говорила Дора, играя его волосами.

У Долинскаго навернулись слезы, и онъ отвѣчалъ:

— Нѣтъ, хочу.

— А лжешь!

— Да полно жъ тебѣ меня мучить, Дора.

— Не мучить! Ну, хорошо, ну, слушай.

Дорушка повернулась къ нему лицомъ и сказала:

— Вотъ, мой другъ, что сей сонъ обозначаетъ...

Дорушка снова остановилась.

— Да что же ты хочешь сказать? — нетерпѣливо спросилъ Долинскій, отирая выступавшій у него на лбу холодный потъ.

— А то, мой милый, что... не обращай ты вниманія, если тебѣ когда-нибудь кажется, что я будто стала холодна, что я скучаю... Мнѣ все стало очень тяжело; не могу я быть и для тебя всегда такою, какою была. И для любви тоже силы нужны.

— Да что же съ тобой такое?

— Дурно.

— Господи! что же такое? что?

— Давно дурно.

— Чего жъ ты молчала?

— Это все равно.

— Какъ, все равно?

— Ничто мнѣ не поможетъ.

— Ты себѣ сочиняешь,—сказалъ, вскочивъ, Долинскій.

Даша молчала.

— Иди, ложись спать и дай мнѣ уснуть, — сказала она черезъ минуту.

Долинскій въ раздумьѣ сѣлъ у ея ногъ.

— Ложись тутъ и спи,—сказала опять Даша, указывая на мѣсто у своихъ ногъ.

По дрожащимъ и жаркимъ губамъ Долинскаго, которыми онъ прикоснулся къ рукѣ Даши, она догадалась, что онъ разстроенъ до слезъ и сказала:

— Пожалуйста, пусть будетъ очень тихо, мнѣ хочется крѣпко уснуть.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

### Приговоръ.

Утромъ Долинскій осторожно вышелъ изъ комнаты и отправился къ доктору.

Въ двѣнадцать часовъ явился докторъ и, долгою по сидѣвъ у Даши, вошелъ въ комнату Нестора Игнатьевича, написалъ рецептъ и уѣхалъ, а Даша повеселѣла какъ будто.

— Ну, чего ты такъ раскись! — говорила она Долинскому. — Все хорошо, я сама напрасно перепугалась. Поживемъ еще поцарствуемъ.

Долинскій только руки ея цѣловалъ. Онъ хотѣлъ надѣяться и не смѣлъ вѣрить.

— Ну, ну, полно же. — А ты вотъ что сдѣлай для меня. Принеси мнѣ нашу казну.

— Денегъ еще много.

— Посмотримъ.

Денегъ, точно, было около двухъ тысячъ франковъ.

— Мало. Ты долженъ для меня заработать много. У меня есть къ тебѣ просьба.

— Приказывай, Даша.

— Заработай мнѣ денегъ. Мнѣ деньги нужны.

— Выдумываешь что-нибудь.

— Право, нужны: наряжаться хочу.

— Ну, хорошо, я буду работать, а ты скажи, на что тебѣ деньги нужны?

— Видишь, пора намъ и за дѣло браться. Ты работай свою работу, а я на первыя же деньги открываю русскій, этакій, знаешь, пока маленькій ресторанчикъ.

Долинскій разсмѣялся.

— Нячего нѣтъ смѣшного! Я не меньше тебя работаю. Англичане же всѣ ходятъ ѣсть ростбифъ въ своемъ трактирѣ.

— Ну?

— А у меня будетъ солонина, окрошка, пироги, квась, палочки; не бойся, пожалуйста, я вѣрно разчитала. Ты не бойся, я на твоей шеѣ жить не стану. — Я бы очень хотѣла... дѣтей учить, дѣвочекъ; да, вѣдь, не дадутъ. Скажутъ, сама безиравственная. А трактирщицей, ничего себѣ, могу быть — даже прилично.

Долинскій еще искреннѣе разсмѣялся.

— Нечего, нечего,—говорила съ гримаской Дора.—Вѣдь, я всегда трудилась и, разумѣется, опять буду трудиться.— Ничего новаго! Это вы только разсуждаете, какъ бы женщинѣ потрудиться, а когда же наша простая женщина не трудилась? Я же, вѣдь, не барышня; неужто же ты думаешь, что я шла ко всему, не думая, какъ жить, или думая, по-барски, сѣсть на твою шею?

— Да я ничего.

— Ну, такъ нечего, значить, и смѣяться. Работай же. Помни, что вотъ я выздоровѣю, фондъ нуженъ, — напомнила она, вскорѣ послѣ этого разговора, Долинскому.

— Что же работать?

— Господи! Вотъ Фигаро нетлѣнный: все ткни его носомъ да покажи. Ну, разумѣется, пиши повѣсть.

— Дорушка! Вы же понимаете, что повѣсти по заказу не пишутся. У меня въ головѣ нѣтъ никакой повѣсти.

— Ну, я тебѣ задамъ.

— Задай, дай, —весело отвѣчала Долинскій.

— Ну, вотъ ты да я—вотъ тебѣ и повѣсть.

— Нѣтъ, это ужъ пусть другіе пишутъ.

— Отчего жъ?

— Къ сердцу очень близко.

— Напрасная сентиментальность. — Ну, Онучина, которой любить хочется, да маменька не велитъ.

— Я ее совсѣмъ не знаю, Дора.

— Побесѣдуй.

— Да откуда ты-то знаешь, что ей любить хочется?

— Такъ; приснилось мнѣ, что ли—не помню.

— Да ты жъ съ ней не говорила.

— Тутъ нечего и говорить. А, впрочемъ, нѣтъ... постой, постой! — вскрикнула, подумавъ, Даша. — Вотъ что бери: бери этакую, знаешь, барыню, которая все испытываетъ: любятъ ли ее вѣрно, да на цѣлый ли вѣкъ? Ну, и тутъ словъ! словъ! словъ! — Съ словами цѣлая свора разныхъ, разныхъ прихвостней. Все она собирается любить «жарче дня и огня», а годы все идутъ, и сберется она полюбить, когда ее любить никто не станетъ, или полюбить того, кто менѣе всего стоить любви. Выйдетъ ничего-себѣ повѣсть, если хорошенько разыграть.

— Начнемъ-ка, — подбавила Дора: — я буду вязать себѣ платокъ, а ты пиши.

Шутя началась работа. Повесть писалась и платокъ вязался.

— Что ваша кузина... не замужемъ? — спросилъ одинъ разъ докторъ, садясь за столикъ въ комнатѣ Долинскаго, чтобы записать рецептъ Дашѣ.

— Нѣтъ, не замужемъ, — нѣсколько смутясь, отвѣчалъ Долинскій.

Докторъ нагнулся къ столу и, написавъ, не спѣша, двѣ строчки, снова сказалъ:

— Я хотѣлъ васъ спросить: дѣвушка она, или нѣтъ? — очень странные симптомы!

Онъ быстро поднялъ глаза отъ бумаги на лицо Долинскаго. Тотъ былъ красенъ до ушей. Докторъ снова нагнулся, отбросилъ начатый рецептъ въ сторону и, написавъ новый, уѣхалъ.

— Что же, развѣ ей очень дурно? — спросилъ Долинскій, провожая доктора за дверь.

— Теперь ничего особеннаго, хотя и хорошаго нѣтъ, но послѣ болѣзни можетъ идти crescendo, — отвѣчалъ врачъ сухо и даже нѣсколько строго.

— Что тебѣ говорилъ докторъ?

— Ничего особеннаго, — отвѣчалъ, смущаясь, Долинскій.

— Онъ все съ намеками какими-то.

— Да.

— И все вретъ.

— А если правда?

— Лжетъ, лжетъ, я знаю. Я просто простудилась. Послушай-ка меня! Устрой-ка ты мнѣ на ночь ножную ванну — это мнѣ всегда помогало.

— Это прежде было, Дора.

— Ахъ, не спорь о томъ, чего не понимаешь!

— А если хуже будетъ?

— Ахъ, Боже мой, что же это за наказаніе съ этими безтолковыми людьми! Ну, не будетъ хуже, русскимъ вамъ языкомъ говорю, не будетъ, не будетъ, — настаивала Дора.

Вечеромъ Даша, при содѣйствіи m-me Бюжаръ, брала ножную ванну и встала на другое утро довольно бодрою, но къ полудню у ней все кружилась голова, а передъ обѣдомъ она легла въ постель.

Пять дней она уже лежала и все ей худо было. Докторъ началъ покачивать головой и разъ сказалъ Долинскому:

— Просто не пойму, что это такое?

— Ванну она брала.

— Зачемъ?

— Хотѣла.

Докторъ пожалъ плечами и уѣхалъ.

Больная все разнемогалась. Кашель сплывный начался, а по ночамъ изнурительный потъ.

— Что съ нею, докторъ? — спрашивалъ встревоженный Долинскій.

— Ничего не могу вамъ сказать хорошаго.

— Неужто это все ванна надѣлала?

— Не думаю, но болѣзнь идетъ ужасно быстро.

— Боже мой! что жъ дѣлать?

— Будемъ дѣлать, что можно.

— Собрать консилиумъ?

— Соберите.

Пять докторовъ были и деньги взяли, а Дашѣ день-отодня становилось хуже. Не мучилась она, а все слабѣла и тяжело дышать стала. Долинскій не отходилъ отъ нея ни на шагъ и самъ разнемогся.

— Сходи къ Онучинымъ, — говорила Долинскому Даша, стараясь услатъ его утромъ изъ дома.

— Зачемъ?

— Принеси мнѣ русскую иллюстрацію.

Несторъ Игнатьевичъ взялъ фуражку.

— А ко мнѣ пошли m-me Бюжаръ, — сказала ему вслѣдъ Даша.

Онъ мимоходомъ позвалъ къ ней старуху.

Когда онъ возвратился, въ комнатѣ Даши стоялъ диванъ, перенесенный изъ его кабинетика.

— Зачемъ ты это велѣла перенести, Даша?

— Такъ; ты прилечь здѣсь можешь, когда устанешь.

Часто и все чаще и чаще она стала посылать его къ Онучинымъ, то за газетами, которыя потомъ заставляла себѣ читать и слушала, какъ будто со вниманіемъ, то за узоромъ, то за русскимъ чаемъ, котораго у нихъ не хватило. А между тѣмъ въ его отсутствіе она вынимала изъ-подъ подушки бумагу и скоро, и очень скоро что-то писала. Схватится за грудь руками, поддержитъ себя сколько можетъ крѣпче, вздохнетъ болѣзненно и опять пишеть, пока на дворѣ подъ окнами раздадутся знакомые шаги.

— Прибѣжалъ, не вытерпѣлъ, — скажетъ, улыбаясь, Дора. — Бѣдный ты мой! Зачѣмъ ты меня такъ любишь?

У Долинскаго стало все замѣтнѣе и замѣтнѣе недоставать словъ. Въ такія особенно минуты онъ обыкновенно или потерянно молчалъ, или столь же потерянно бралъ большую за руку и не сводилъ съ нея глазъ. Очень тяжело, невыносимо тяжело видѣть, какъ близкое и дорогое намъ существо таетъ, какъ тонкая восковая свѣчка, и спокойно переступаетъ послѣднія ступени къ могилѣ.

Даша проболѣла мѣсяць и извелась совсѣмъ: сдѣлалась сухая, какъ перезимовавшая въ полѣ былинка, и прозрачная, какъ вытаявшая восковая фигура, освѣщенная сбоку. Въ послѣднее время она почти ничего не кушала и перестала посылать изъ дома Долинскаго.

— Будь теперь возлѣ меня, — говорила она ему. — Теперь ужъ недолго.

— Да что ты, Дора, въ самомъ дѣлѣ, умирать, что ли, собираешься?

— А ты какъ думаешь? — тихо спросила Дора.

Долинскій стоялъ передъ нею сущимъ истуканомъ.

— Охъ, какой ты смѣшной! — говорила, черезъ силу улыбаясь, Дорушка. — Ну, чего ты моргаешь? Чего тебѣ жаль? Жаль меня? Ну, люби меня послѣ смерти!.. да что объ этомъ. Плачь, если плачется, а я счастлива.

Дорушка кашлянула, задумалась и произнесла еще спокойнѣе:

— Смерть! Что жъ такое смерть? Неизбѣжное!.. Ну, пусть жизнь оборвется на живомъ звукѣ, сразу, безъ стонъ, безъ жалобъ нищенскихъ.

Дорушка опять кашлянула и, показавъ Долинскому бѣлый платокъ съ свѣжимъ алымъ пятнышкомъ, улыбнулась.

Больной становилось все хуже. Докторъ сказалъ, что ужъ нѣтъ никакой надежды.

Даша допыталась сама о состояніи своего здоровья и сказала:

— Теперь напиши Аннѣ, что я безнадежна.

Долинскій написалъ письмо; Даша прочла его, написала внизу: «прощай, сестра», и отдала м-те Бюжаръ, чтобы отправить на почту. На другой день, когда старуха перемѣняла на ней бѣлье, она отдала ей другой толстый пакетъ и велѣла его бросить завтра въ ящикъ. Два дня по-

томъ она была совсѣмъ едва жива, а на третій ей вдругъ полегчало. Цѣлый день Долинскій никакъ не могъ ее упротить, чтобы она молчала. Все, какъ птичка, она щебетала и все возлѣ себя держала его. Ночью спала она очень покойно и слѣдующій день начала хорошо, но раза три все порывалась вскрикнуть, какъ будто разрывалось что-то у нея въ груди. Слѣдующая ночь ей была гораздо труднѣе: она бредила, вскрикивала и безпрестанно звала Долинскаго.

— Я здѣсь, Дора,—отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

— Гдѣ? Гдѣ ты?

Плачетъ и сама руками ищетъ въ воздухѣ.

— Да, вотъ я, вотъ, возлѣ тебя, — отвѣчалъ Долинскій, сжимая ея руку.

— Господи! а я ужъ думала, мнѣ показалось, что я... что тебя ужъ нѣтъ со мною.

— Полно, успокойся, Дора.

— Да гдѣ же ты опять?

— Да я же вотъ держу тебя за руки.

— То-то... Голосъ твой вдругъ какъ-то странно... далеко мнѣ послышался. Ты не отходилъ отъ меня?—спрашиваетъ она въ жару, тревожно водя блуждающими глазами.

— Нѣтъ, Дора.

— То-то, ты не отходи.

— Куда же я пойду?

— Ну, Богъ тебя знаетъ.

Даша на минутку забывалась и опять вскорѣ звала.

— Чтѣ же? чтѣ, моя Дора? — перепуганнымъ голосомъ спрашивалъ забывавшійся минутнымъ сномъ Долинскій.

— Все мнѣ кажется, какъ будто мы другъ отъ друга уходимъ.

— Ты бредишь, Даша.

— Да, вѣрно, брежу.—Ты меня держишь за руку?

— Ну, да, Дора. Богъ съ тобой, развѣ ты не видишь?

— Нѣтъ, вижу. Только ты все далеко какъ-то. Ты лучше обними меня. Сядь такъ, ближе, возьми меня къ себѣ.

И она уснула почти на рукахъ Долинскаго. Когда солнышко взглянуло сквозь занавѣску, Даша спала, спокойна и прекрасна, и предательскія алыя пятна весело играли на ея нѣжныхъ щечкахъ.



## ГЛАВА ПЯТАЯ.

### *Finita la comedia.*

Съ утра Дашъ было и такъ, и сякъ, только землистый цвѣтъ, проступавшій по тонкой кожѣ около усть и носа, придавалъ лицу Даши какое-то особенное неприятное и даже страшное выраженіе. Это была та непостижимая печать, которою смерть заживо отмѣчаетъ обреченныя ей жертвы. Даша была очень серьезна, смотрѣла въ одну точку, и блѣдными пальцами все обирала что-то съ своего, перстью земною покрывавшагося лица. Къ ночи ей стало хуже, только она, однако, уснула.

Долинскій приподнялся, дошелъ на цыпочкахъ до дивана и прилегъ. Онъ былъ очень изнуренъ многими бессонными ночами и уснулъ какъ умеръ. Однако, несмотря на крѣпкій сонъ, часу во второмъ ночи, его какъ будто кто-то самымъ безцеремоннымъ образомъ толкнулъ подъ бокъ. Онъ вскочилъ, оглянулся и вздрогнулъ. Даша, опершись на свою подушку локоткомъ, манила Долинскаго къ себѣ пальчикомъ, и тихонько, шопотомъ называла его имя.

— Что ты?—спросилъ онъ, подойдя къ ея постели.

— Тссс!—произнесла Даша и сердито погрозила пальцемъ. Долинскій остановился и оглянулся.

— Тссс!—повторила Даша и спросила шопотомъ:—когда она пріѣхала?

— Кто пріѣхала!

— Анна.

— Какая Анна?

— Ну, Анна, Анна, сестра.

— Богъ съ тобой, это тебѣ приснилось.

Даша разсердилась.

— Не приснилось, а она приходила сюда, вотъ тутъ, вотъ возлѣ меня стояла въ бѣломъ капотѣ.

— Что ты говоришь, Дора, вздоръ какой! Зачѣмъ здѣсь будетъ Анна?

— Я тебѣ говорю, она сейчасъ была тутъ, вотъ тутъ. Она смотрѣла на меня и на тебя. Вотъ въ лобъ меня поцѣловала, я еще и теперь чувствую, и сама слышала, какъ дверь за ней скрипнула. Ну, выйди, посмотри лучше, чѣмъ спорить.

Долинскій зажегъ у ночной лампочки свѣчу и вышелъ

въ другую комнату. Никого не было; все оставалось такъ, какъ было. Проходя мимо зеркала, онъ только испугался своего собственного лица.

— Ничего нѣтъ,—сказалъ онъ, входя къ Дашѣ, возможно спокойнымъ и твердымъ голосомъ.

— Чего жъ ты такъ обрадовался? чего ты кричишь-то! Ну, нѣтъ и нѣтъ.

— Я обыкновеннымъ голосомъ говорю.

— Не надо обыкновеннымъ голосомъ говорить — говори другимъ.

Лицо Доры было необыкновенно сурово, даже страшно своею грозною серьезностью.

При свѣчѣ, на немъ теперь очень ясно обозначились серьезные черты Иппократа.

— Зачѣмъ же это другимъ голосомъ? Что ты все пугаешь меня, Даша?—сказалъ ей, дѣйствительно дрожа стѣ непонятнаго страха, Долинскій.

— Это смерть моя приходила, — отвѣчала съ досадою больная.

Долинскій понималъ, что больная бредитъ наяву, а муралки все-таки по немъ пробѣжали.

— Какой вздоръ, Даша!

— Нѣтъ, не вздоръ, нѣтъ, не вздоръ,—и Даша заплакала.

— Чего жъ ты плачешь?

— Того, что ты со мной споришь. Я больна, а онъ спорить.

— Ну, успокойся же, я, точно, виноватъ.

— Виноватъ!

Даша отерла платкомъ слезы и сказала:

— И опять глупо: совсѣмъ не виноватъ. Сядь возлѣ меня; я все пугалась чего-то.

Долинскій сѣлъ у изголовья.

— Капризная я стала?—спросила едва слышно больная.

— Нѣтъ, Дора, какіе жъ у тебя капризы?

— Ну, я тебѣ скажу какіе, только, пожалуйста, со мной не спорь и не возражай.

— Хорошо, Дора.

— Я хочу, чтобы ты меня на свои трудовыя деньги мертвую привезъ въ Россію. Хорошо?

Долинскій молчалъ.

— Исполнишь?—спрашивала ласково Дора.

— Исполню.

— До тѣхъ поръ не выѣзжай отсюда. Сдѣлаешь?

— Сдѣлаю.

Она приложила къ его губамъ свою ручку, а онъ поцѣловалъ ее, и больная уснула.

Черезъ два дня послѣ этого, съ самаго утра, ей стало очень худо. День она провела безъ памяти и, глядя во всѣ глаза на Долинскаго, все спрашивала: «Гдѣ ты? Не отходи же ты отъ меня!» Передъ вечеромъ зашелъ докторъ и, выходя, только губами подернулъ, да махнулъ около носа пальцемъ. Дѣло шло къ развязкѣ. Долинскій совсѣмъ растерялся. Онъ стоялъ надъ постелью безъ словъ, безъ чувствъ, безъ движенія и не слыхалъ, что возлѣ него дѣлала старуха Бюжаръ. Только милый голосъ, звавшій его время отъ времени, выводилъ его на мгновеніе изъ страшнаго оцѣпенѣнія. Но и этотъ низко-упавшій голосъ очень мало напоминалъ прежній звонкій голосъ Доры. Въ комнатѣ была мертвая тишина. М-те Бюжаръ начинала позѣвывать и кланяться сѣдою головою. Пришла полночь, стало еще тише. Вдругъ, среди этой тишины, Даша стала тихо приподниматься на постели и протянула руки. Долинскій подержалъ ее.

— Пусти, пусти,—прошептала она, отводя его руки.

Онъ уложилъ ее опять на подушки, и она легла безпрекословно.

Зорька стала заниматься, и въ сосѣдней комнатѣ, гдѣ сегодня не были опущены занавѣски, начало сѣрѣть. Даша вдругъ опять начала тихо и медленно приподниматься, воззрилась въ одну точку въ ногахъ постели и прошептала:

— Звонягъ! Гдѣ это звонягъ?—и съ этими словами внезапно вздрогнула, схватилась за грудь, упала навзничъ и закричала:—ой, что жъ это! больно мнѣ! больно!—Охъ, какъ больно! Помогите хоть чѣмъ-нибудь. А-а! В-о-т-ъ о-н-а смерть!—Жить!.. Ахъ!.. ахъ! жить, еще! жить хочу!—крикнула громкимъ, рѣзкимъ голосомъ Дора и какъ-то неестественно закинула назадъ голову.

Долинскій нагнулся и взялъ ее подъ плечи; Дора вздрогнула, тихо потянулась, и ея не стало.

У изголовья кровати стояла м-те Бюжаръ и плакала въ платокъ, а Долинскій такъ и остался, какъ его покинула отлетѣвшая жизнь Доры.

Прошло десять или пятнадцать минутъ, m-me Бюжаръ рѣшилась позвать Долинскаго, но онъ не откликнулся.

Онъ ничего не слыхаль.

M-me Бюжаръ пошла домой, плакала, пила со сливками свой кофе, опять просто плакала и опять пришла — все оставалось попрежнему. Только свѣтло совсѣмъ въ комнатѣ стало.

Француженка еще разъ покликкала Долинскаго, онъ тупо взглянулъ на нее и его лѣвая щека скривилась въ какую-то особенную, кислую улыбку. Старуха испугалась и побѣжала.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

### Сирота.

Madame Бюжаръ побѣжала къ Онучинымъ. Она знала, что, кромѣ этого дома, у ея жильцовъ не было никого знакомаго. Благородное семейство еще почивало. Француженка усѣлась на террасѣ и терпѣливо ожидала. Здѣсь ее засталъ Кирилль Сергѣевичъ и общался тотчасъ идти къ Долинскому. Черезъ часъ онъ пришелъ въ квартиру покойницы вмѣстѣ съ своею сестрою. Долинскій попрежнему сидѣлъ надъ постелью и неподвижно смотрѣлъ на мертвую голову Доры. Глаза ей никто не завелъ, и

Съ поблѣвшими глазами,  
Ликъ, прежде нѣжный, былъ страшнѣй  
Всего, что страшно для людей.

Мухи ползали по глазамъ Дорушки.

Кирилль Сергѣевичъ съ сестрою вошли тихо. M-me Бюжаръ встрѣтила ихъ въ залѣ и показала въ отворенную дверь на сидѣвшаго попрежнему Долинскаго. Братъ съ сестрой вошли въ комнату умершей. Долинскій не трогался.

— Несторъ Игнатычъ!—позвалъ его Онучинъ.

Отвѣта не было. Онучинъ повторилъ свой окликъ—то же самое, Долинскій не трогался.

Вѣра Сергѣевна постояла нѣсколько минутъ и, не снимая своей правой руки съ локтя брата, лѣвую сильно положила на плечо Долинскаго, и, нагнувшись къ его головѣ, сказала ласково:

— Несторъ Игнатычъ!

Долинскій какъ будто проснулся, провелъ рукою по лбу и взглянулъ на гостей.

— Здравствуйте!—сказала ему опять m-me Онучина.

— Здравствуйте!—отвѣчалъ онъ, и его лѣвая щека опять скривилась въ ту же странную улыбку.

Вѣра Сергѣевна взяла его за руку и опять съ усиленіемъ крѣпко ее пожала. Долинскій всталъ и его опять подернуло улыбнуться очень недоброй улыбкой. M-me Бюжаръ пугливо жалась въ углу, а ботаникъ видимо растерялся.

Вѣра Сергѣевна положила обѣ свои руки на плечи Долинскаго и сказала:

— Одни вы теперь остались!

— Одинъ,—чуть слышно отвѣтилъ Долинскій и, оглянувшись на мертвую Дору, снова улыбнулся.

— Ваша потеря ужасна,—продолжала, не сводя съ него своихъ глазъ, Вѣра Сергѣевна.

— Ужасна,—равнодушно отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ дернулъ сестру за рукавъ и сдѣлалъ строгую гримасу. Вѣра Сергѣевна оглянулась на брата и, отвѣтивъ ему нетерпѣливымъ движеніемъ бровей, опять обратилась къ Долинскому, стоявшему передъ ней въ окаменѣломъ спокойствіи.

— Она очень мучилась?

— Да, очень.

— И такъ еще молода!

Долинскій молчалъ и тщательно обтиралъ правою рукою кисть своей лѣвой руки.

— Такъ прекрасна!

Долинскій оглянулся на Дору и уронилъ шопотомъ:

— Да, прекрасна.

— Какъ она васъ любила!.. Боже, какая это потеря!

Долинскій какъ будто пошатнулся на ногахъ.

— И за чтò такое несчастье!

— За чтò! за... за чтò!—простоналъ Долинскій и, упавъ въ колѣна Вѣры Сергѣевны, зарыдалъ какъ ребенокъ, котораго безъ вины наказали въ примѣръ прочимъ.

— Полноте, Несторъ Игнатьичъ,—началь-было Кириллъ Сергѣевичъ, но сестра снова остановила его сердобольный порывъ и дала волю плакать Долинскому, обхватившему въ отчаяніи ея колѣни.

Мало-по-малу онъ выплакался и, облокотясь на стулъ, взглянулъ еще разъ на покойницу и грустно сказалъ:

— Все кончено.

— Вы мнѣ позволите, м-г Долинскій, заняться ею?

— Занимайтесь. Чтò жъ, теперь все равно.

— А вы съ братомъ подите отправьте депешу въ Петербургъ сестрѣ.

— Хорошо,—покорно отвѣчалъ Несторъ Игнатьевичъ.

Онучинъ увелъ Долинскаго, а Вѣра Сергѣевна послала м-ше Бюжаръ за своей горничной и въ ожиданіи ихъ сѣла передъ постелью, на которой лежала мертвая Дора.

Дѣтскій страхъ смерти при бѣломъ днѣ овладѣлъ Вѣрою Сергѣевной: все ей казалось, что мертвая Дора супится и слегка шевелитъ насильно закрытыми вѣками.

Одѣли покойницу въ бѣлое платье и голубою лентой подпоясали ее по стройной талии, а пышную красную косу расчесали по плечамъ, и такъ положили на столъ.

Комнату Дашину вычистили, но ничего въ ней не трогали; все осталось въ томъ же порядкѣ. Долинскій вернулся домой тихій, грустный, но спокойный. Онъ подошелъ къ Дашѣ, поднялъ кисею, закрывавшую ей голову, поцѣловалъ ее въ лобъ, потомъ поцѣловалъ руку и закрылъ опять.

— Пойдемте же къ намъ, Несторъ Игнатьичъ! — говорилъ Онучинъ.

— Нѣтъ, право, не могу. Я не пойду; мнѣ здѣсь хороню.

— Въ самомъ дѣлѣ, ваше мѣсто здѣсь,—подтвердила Вѣра Сергѣевна.

Онъ съ благодарностью пожалъ ей руку.

— Знаете, чтò я забыла спросить васъ, м-г Долинскій! — сказала Вѣра Сергѣевна, зайдя къ нему послѣ обѣда.—Вы Дору здѣсь оставите?

— Какъ здѣсь?

— То-есть въ Италию?

— Ахъ, Боже мой! я и забылъ. Нѣтъ, ее перевезутъ домой, въ Россію. Нужно металлическій гробъ. Вы, вѣдь, это хотѣли сказать?

— Да.

— Да, металлическій.

— Вы не хлопочите, маман все это уладить: она знаетъ, чтò нужно дѣлать. Она извиняется, что не можетъ къ вамъ придти, она нездорова.

Старуха Онучина боялась мертвыхъ.

— Позвольте же, деньги нужно дать,—безпокоился Долинскій.

— Послѣ, послѣ отдадите, сколько издержать.

— Благодарю васъ, Вѣра Сергѣевна. Я бы самъ ничего не дѣлалъ.

М-ше Онучина промолчала.

— Какъ вы хорошо одѣли ее!—заговорилъ Долинскій.

— Вамъ нравится?

— Да. Это всего лучше шло къ ней всегда.

— Очень рада. Я хочу посидѣть у васъ, пока братъ за мною придетъ.

— Чтò жь! Это большое одолженіе, Вѣра Сергѣевна.

— У васъ есть чай?

— Чай? Вѣрно есть.

— Дайте, если есть.

Долинскій нашель чай и позвать старуху. Принесли горячей воды, и Вѣра Сергѣевна сѣла дѣлать чай. Пришла и горничная съ большимъ узломъ въ салфеткѣ. Вѣра Сергѣевна стала разбирать узелъ: тамъ была розовая подушечка въ ажурномъ чехлѣ, кисея, собранная буфами, для того, чтобы ею обтянуть столъ; множество гирляндъ, великолѣпный букетъ и вѣнокъ изъ живыхъ розъ на голову.

Разложивъ все это въ порядкѣ, Вѣра Сергѣевна съ своею горничной начала убирать покойницу. Долинскій тихо и спокойно помогалъ имъ. Онъ вынулъ изъ своей дорожной шкатулки кievскій перламутровый крестъ своей матери и, по украинскому обычаю, вложилъ его въ исхудалыя ручки Доры.

Передъ тѣмъ, когда хотѣли закрывать гробъ покойницы, Вѣра Сергѣевна вынула изъ кармана ножницы, отрѣзала у Дорушки цѣлую горсть волосъ, потомъ отрѣзала длинный конецъ отъ ея голубого пояса, перевязала эти волоса обрѣзкомъ ленты и подала ихъ Долинскому. Онъ взялъ молча этотъ послѣдній остатокъ земной Доры и даже не поблагодарилъ за него м-ше Онучину.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

### Письмо изъ-за могилы.

Анна Михайловна получила письмо объ отчаянной болѣзни Доры за два часа до полученія телеграммы о ея смерти.

Анна Михайловна плакала и тосковала въ Петербургѣ, и ее никто не заботился утѣшать. Одинъ Илья Макаровичъ чаще забѣгалъ подъ различными предлогами, но мало отъ него было ей утѣшенія: художникъ самъ не могъ опомниться отъ печальной вѣсти и все сводилъ разговоръ на то, что «сгорѣло созданыще милое! подсѣкла его судьбенка». Анна Михайловна, впрочемъ, и не искала стороннихъ утѣшеній.

— Не безпокойтесь обо мнѣ, Илья Макарычъ, ничего со мною не сдѣлается,— отвѣчала она волновавшемуся художнику.—Отъ горя люди, къ несчастію, не умираютъ.

Только Аннѣ Анисимовнѣ она часто съ тревогою сообщала свои сновидѣнія, въ которыхъ являлась Дора.

— Видѣла ее, мою крошку, будто она одна, босая, моя голубочка, сидитъ на полу въ пустой церкви... —разсказывала, тоскуя, Анна Михайловна.

— Душенька ея... — сочувственно начинала бѣдная дѣвушка.

— И эти ручки, эти свои маленькія ручонки ко мнѣ протягиваетъ... Ахъ ты, Боже мой! Боже мой!—перебивала въ отчаяніи Анна Михайловна, и обѣ начинали плакать вмѣстѣ.

Черезъ три дня послѣ полученія печальныхъ извѣстій изъ Ниццы, Аннѣ Михайловнѣ подали большое письмо Даши, отданное покойницею m-me Бюжаръ за два дня до своей смерти. Анну Михайловну нѣсколько изумило это письмо умершаго автора; она послѣдно разорвала конвертъ и вынула изъ него пять мелко исписанныхъ листовъ почтовой бумаги.

«Сестра! Пишу къ тебѣ съ того свѣта,—начинала Даша.— Живя на землѣ, я давно не въ силахъ была говорить съ тобою попржнему, то-есть я не могла говорить съ тобой откровенно. Въ первый разъ въ жизни я измѣнила себѣ, отмалчивалась, робѣла. Теперь исповѣдуюсь тебѣ, моя душка, во всемъ. Пусть будетъ надо мной твоя воля и твой судъ милосердый. Мой міръ прошелъ предо мною полнымъ, и я схожу въ готовую могилу безъ всякаго ропота. Совѣсть я уношу чистую. По моимъ нравственнымъ понятіямъ, то-есть понятіямъ, которыя у меня были, я ничѣмъ не оскорбила ни людей, ни человѣчество, и ни въ чемъ не прошу у нихъ прощенія. Но есть, голубчикъ-сестра, условія, кото-



рыя плохo повинуются разсудку и заставляють насъ страдать крѣпко, долго страдать, наперекоръ своей увѣренности въ собственной правотѣ. Одно такое условіе давно стало между мною и тобою; оно поднималось, падало, опять поднималось, росло, росло, наконецъ, выросло во всю свою естественную или, если хочешь, во всю свою уродливую величину, и теперь, съ моею смертью, оно, слава Богу, исчезаетъ. Я говорю, Аня, о нашей любви къ Долинскому... Пора это выговорить... Затѣмъ мы его полюбили обѣ — я не разрѣшу себѣ точно такъ же, какъ не могла себѣ разрѣшить никогда, чтò такое мы въ немъ полюбили? чтò такое въ немъ было?.. Увлечлись своими опекунскими ролями, или это—сила добра и честности?

«Да Богъ съ ними, съ этими вопросами! поздно ужъ рѣшать ихъ.

«Я себѣ свою начальную любовь къ этому Долинскому, къ этой живой слабости, объясняю, во-первыхъ, моею мизерикордіей, а, во-вторыхъ... тѣмъ, что ли ужъ, что нынѣшніе *сильные* люди не вызываютъ любви, не могутъ ее вызвать. Я не знаю, чтò бы со мной было, если бы я рядомъ съ Долинскимъ встрѣтила человѣка сильнаго какъ-то иначе, сильнаго *любовью*, но люди, сильные одною ненавистью, однимъ самолюбіемъ, сильные умѣньемъ не любить никого, кромѣ себя и своихъ фразъ, мнѣ были ненавистны; другихъ людей не было, и Долинскій, со всѣми его слабостями, сталъ мнѣ милъ, какъ говорить, понравился.

«Ты знаешь, что я его люблю едва ли не раньше тебя, едва ли не съ первой встрѣчи въ Луврѣ передъ моею любимой картиной. Но онъ тебя, а не меня полюбилъ. Вы это искусно скрывали, но недолго. Сердце сказало мнѣ все; я все понимала, и понимала, что онъ считаетъ меня ребенкомъ. Это меня злило... Да, не будь этого, можетъ-быть, и ничего бы не было остального. Сначала я заставляла молчать мое странное, какъ будто съ зависти разгоравшееся чувство; я сама увѣряла себя, что я не могла бы успокоить упавшій духъ этого человѣка, что ты вѣрнѣе достигнешь этого, и таки-наконецъ, одолѣла себя, отошла отъ васъ въ сторону. Вы не видали меня за своею любовью, и я вамъ не мѣшала, но я наблюдала васъ, и тутъ-то мнѣ показалось, что я поняла Долинскаго гораздо вѣрнѣе, чѣмъ понимала его ты. Тебѣ было жаль его, тебѣ хотѣлось его

успокоить, дать ему вздохнуть, оправиться, а потом... жить тихо и скромно. Такъ я это понимала.

«Я была очень молода, совсѣмъ неопытна, совсѣмъ дѣвочка, но я чувствовала, что въ немъ еще много жизни, много силы, много охоты жить смѣлѣе, тверже. Я видѣла, что силъ этой такъ не должно замереть, но что у него воли давно пришибена, а ты только о его покоѣ думаешь. Я почувствовала, что если бѣ онъ любилъ меня, то я бы могла дать ему то, чего у него не было, или что онъ утратилъ: волю и смѣлость. Это льстило мой дѣтской гордости, этимъ я хотѣла *отмѣнить мою жизнь ни свѣтъ*. Но вы любили другъ друга, и я опять отошла въ сторону и опять наблюдала васъ, любя васъ обоихъ. А тутъ я заболѣла, собиралась умирать. Заноса ногу въ могилу, я еще сильнѣе почувствовала мою любовь—въ страсть она переходила во мнѣ. Это было для меня чувство совершенно новое, и я, право, въ немъ не виновата. Это какъ-то сдѣлалось совсѣмъ мимо меня! Мнѣ не хотѣлось умирать не любя: мнѣ хотѣлось любить крѣпко, сильно. Это было ужасное чувство, мучительное, страшно мучительное! Тутъ поѣхали мы въ Италію; все вдвоемъ да вдвоемъ. Силъ моихъ не было съ собою бороться — хоть день, хоть часъ одинъ я хотѣла быть любимой во что бы то ни стало. Ахъ, сестра, ты простила бы мнѣ все, если бы знала, какое это было мучительное желаніе любви... обожанія, чьего-то рабства передъ собою! Это что-то дьявольское!.. Это гадко, но это было *непреодолимо*.

«Я хотѣла уѣхать, и не могла. Сатана, духъ нечистый одинъ знаетъ, что это было за ненавистное состояніе! Порочная душа моя въ немъ сказалась что ли, или это было роковое наказаніе за мою самонадѣянность! Мало того, что я хотѣла быть любимой, я хотѣла, чтобы меня любилъ, боготворилъ, уничтожался передо мною человекъ, который не долженъ меня любить, который долженъ любить другую, а не меня... И чтобъ онъ ее бросилъ; и чтобъ онъ ее разлюбилъ; чтобъ онъ совсѣмъ забылъ ее для меня — вотъ чего мнѣ хотѣлось! Дико!.. Гнусно!.. Твоя кроткая душа не можетъ понять этого злого желанія. Правда, я давно любила Долинскаго, я любила въ немъ мягкаго и честнаго человека, ну, пожалуй, даже любила его, такъ-таки, по всѣмъ правиламъ, со всѣми онерами, но... все-таки изъ этого, мо-

жеть-быть, ничего бы не было; все-таки жаль мнѣ было тебя! Любила же я тебя, Аничка! знала же я, сколько тебѣ обязана! Все противъ меня было! Но какая-то лукавая сила все шептала: «передъ тобой и это все загремить и разсыплется прахомъ». Ты знаешь, Аня, что я никогда не была кокеткой; это совершенная правда, я не кокетка: «но я, однако, кокетничала съ Долнскимъ, и безсовѣстно, зло кокетничала съ нимъ. Не совѣмъ это безсовѣстно было только потому, что я не хотѣла его влюбить въ себя и бросить, заставить мучиться, я хотѣла... или, лучше сказать тебѣ, въ то время, при самой началѣ этой исторіи, я ничего не объясняла себѣ, зачѣмъ я все это дѣлаю. Но все-таки я знала, я чувствовала, что это... нехорошо. Иногда я останавливалась, вела себя ровно, но это было на минуту, да, все это бывало на одну минуту... Я опять начинала вертѣть его, сбивать, влюбить въ себя до безумія, и, разумѣется, влюбила. Клянусь тебѣ всѣмъ, что это открытіе не обрадовало меня: оно меня испугало! Я въ ту минуту не хотѣла, чтобы онъ разлюбилъ тебя. Голубчикъ мой! повѣрь мнѣ, что этого я не хотѣла... но... потомъ вдругъ я совѣмъ обо всемъ этомъ забыла, совѣмъ о тебѣ забыла, и моя злоба взяла верхъ надъ твоею кроткою, незлобивою любовью, моя дорогая Аня: человекъ, котораго ты любила, уже не любилъ тебя. Онъ не смѣлъ сказать мнѣ, что онъ любитъ меня; не смѣлъ даже самъ себѣ сознаться въ этомъ, но онъ былъ *мой рабъ*, а я хотѣла любить, и онъ мнѣ нравился. Тутъ ужъ не было мѣста прежней мизерикордіи, я только *любила*. Ахъ, Аня! не обвиняй его хоть ты ни въ чемъ: все это я одна, я все это надѣлала! Я ужъ не думала ни о комъ, ни о тебѣ, ни о немъ, ни о себѣ: быть любимой, *быть любимой*—вотъ все, о чемъ я думала. Я знаю, что если бъ я жила, онъ бы со мною не погибъ; но я знала, что я недолго буду жить и что это его можетъ совѣмъ сбить съ толку и мнѣ его не было даже жалко. Пусть полюбитъ меня, а потомъ пусть гибнетъ. Развѣ я этого не стоила? Губять же люди себя опіумомъ, гашишемъ, неужто же любовь женщины хуже какого-нибудь глупаго опьянѣнія? Ужасайся, Аня, до чего доходила твоя Дора!

«Я непременно хочу рассказать тебѣ все, что должно служить къ его оправданію въ этой каторжной исторіи».

Тутъ Даша довольно подробно изложила все, что было со дня ихъ прїѣзда въ Ниццу до послѣднихъ дней своей жизни и, заканчивая свое длинное письмо, писала:

«Теперь я умираю, ничего собственно не сдѣлавъ для него хорошаго. Но я, сестра, въ могилу все-таки уношу убѣжденіе, что этотъ человѣкъ еще многое можетъ сдѣлать, если благородно пользоваться его преданною, привязчивою натурою; иначе кто-нибудь станетъ ею пользоваться неблагородно. Онъ одинъ жить не можетъ. Это ужъ такой человѣкъ. Встрѣтитесь вы, что ли... но я тутъ ровно ничего не понимаю. Я и хочу, и не хочу этого. Все это, понимаешь, такъ странно и такъ неловко, что... Господи, что это я только напутала!» (Тутъ въ письмѣ было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ снова начиналось):

«Я бы доказала, что я могу сдѣлать этого человѣка счастливымъ и могу заставить его отряхнуться. Да, это дѣло возможное; повѣрь, возможное. Отъ того, что я умираю, оно не дѣлается невозможнымъ. Вдумайся хорошенько, и ты увидишь, что я не говорю ничего несообразнаго.

«Не зови его изъ Италіи. Пусть поскучаетъ обо мнѣ вволю. Это для него необходимо. Я вижу, что я для него буду очень серьезною потерей, и надо, чтобы онъ сумѣлъ съ собою справиться, а не растерялся, не бросился Богъ вѣсть куда. Я велѣла ему перевезти мое тѣло въ Россію. Для насъ, небогатыхъ людей, — это, разумѣется, затѣя совершенно лишняя и непростительная (хотя, каюсь тебѣ, и мнѣ какъ-то прїятнѣе лежать въ родной землѣ, ближе къ людямъ, которыхъ я любила). Я сдѣлала это, однако, не для себя. Онъ будетъ очень тосковать обо мнѣ, а все-таки лучше ему оставаться здѣсь. Куда ему ѣхать въ Россію?.. Все такъ свѣжо будетъ... такъ больно... Зачѣмъ встрѣча безъ радости? Я ему сказала, чтобы онъ перевезъ меня на трудовыя деньги. Это его заставитъ работать и будетъ очень хорошо, если никто не станетъ въ него вступаться, звать его. Все должно быть оставлено времени и моей памяти. Я еще изъ-за гроба что-нибудь сдѣлаю... А ты, Аня, не увлекайся своими фантазіями и поступаай такъ, какъ тебѣ укажутъ твое чувство и благоразуміе. Что, мой другъ, дѣлать, бываетъ всякое на свѣтѣ!»

Тутъ опять было нѣсколько тщательно зачеркнутыхъ строчекъ и потомъ стояло:

«Только опять нѣтъ! Все мнѣ что-то кажется, я какъ-то предчувствую, что все это будетъ какъ-то не такъ, что будетъ какая-то иная развязка и вообрази... *я буду рада, если она будетъ иная...* Кажется, любила и сгубила... Что жъ дѣлать? дамъ отвѣтъ, если спросится... А, впрочемъ, не слушай лучше ты, Аня, меня — я, должно-быть, совсѣмъ сошла съ ума передъ смертью. Старайся, чтобъ было такъ, *какъ мнѣ не хочется*. Лучшаго я ничего не придумаю. Все это мнѣ представляется теперь, какъ объявляютъ на афишахъ, какимъ-то великолѣпнымъ, брильянтовымъ фейерверкомъ, и вотъ этотъ фейерверкъ весь сгорѣлъ до тла и около меня сгущается мракъ, сѣрый, непроглядный мракъ. могила... А нельзя было не сжечь его! Онъ такъ хорошо, такъ дивно хорошо горѣлъ!.. Говорю тебѣ одно, что если бы ты умерла прежде меня, я бы... нѣтъ, я ничего не знаю.

«*Я ничего не знаю*, и это выходитъ *все*, что я сумѣла сказать тебѣ въ этой послѣдней попыткѣ, моя мать, сестра и лучшій земной другъ мой! Я умираю, однако, въ полномъ убѣжденіи, что ты поняла мою исповѣдь и простила меня. Прощай, мой добрый ангелъ! Прощай издалека. Какъ бы я хотѣла тебя видѣть въ мои послѣднія минуты!.. Какъ я хочу вѣрить, что я увижу тебя! Да, я тебя увижу: я вызову тебя. Я вѣрю въ души, въ силу душъ, и я тебя вызову! Разстояніи нѣтъ. Ихъ нѣтъ, потому что ты теперь со мною! Я вижу, какъ ты меня прощаешь. Ты благословляешь твою безнравственную сестру... спасибо. Совсѣмъ мнѣ плохо; едва дописываю эти строки. Пора въ походъ безвѣстный... Вотъ она, когда близится роковая загадка-то! Иду смѣло, смѣло иду! Интересно знать, что тамъ такое? Можетъ-быть, въ самомъ дѣлѣ, буду ждать васъ? но хочу, чтобы ждала какъ можно дольше, и боюсь только, что «въ мірѣ иномъ другъ друга ужъ мы не узнаемъ»

«Любите же и помните вашу мертвую Дору.»

«Нипца».

«PS. Если бы слѣпою волею рока это письмо мое когда-нибудь стало извѣстно высоконравственному міру, Боже, какъ бы перевернули высоконравственные люди въ могилѣ мои бѣдныя кости! Съ какими бы процентами заплатили мнѣ всѣ опять-таки высоконравственные дамы за все презрѣніе, которое я всегда чувствовала къ ихъ фарисейской нравственности. Развѣ одна ты, милосердная, вдохнови-

тельная, всесильная любовь, вложишь въ чьи-нибудь грѣшныя и многолюбящія или многолюбившія уста слово въ мое оправданіе! Сорвалось съ петель! Не умѣла любить вполвину сердца, а всѣмъ полюбишь—на полдорогѣ не остановишься. Прощай, и еще разъ прости меня, мертвеца, бѣднаго и болѣе никому уже не вредящаго.

«Совсѣмъ забыла про Журавку—онъ обидится. Поцѣлуй его за меня: онъ любилъ меня, нашъ добрый, маленькій человѣчекъ съ большимъ сердцемъ. Аннѣ Анисимовнѣ, всему нашему маленькому, тихому мірку, всѣмъ дѣвушкамъ, всѣмъ кланяюсь и у всѣхъ прошу себѣ всякаго прощенья».

Анна Михайловна поплакала, еще разъ перечитала письмо и легла въ постель. Много горячихъ и добрыхъ слезъ ея упало этою безконечною для нея ночью.

— Чтѣ теперь впереди? Кому, на чтѣ нужна моя жизнь и зачѣмъ она самой мнѣ, эта жизнь, въ которой все милое пропало, все вымерло?—спрашивала себя она, обтирая заплаканное лицо.

Совершенно разбитая, Анна Михайловна рано утромъ встала и написала Долинскому:

«Печальное извѣстіе о смерти Дорушки меня поразило, потому что ни одинъ изъ васъ даже не извѣщалъ меня, что ей сдѣлалось хуже. Однако, я давно была къ этому готова и желаю, чтобы ты какъ можешь спокойно пере-несъ нашу потерю. Я прошу тебя остаться въ Ниццѣ, пока я выхлопочу позволеніе перевезти въ Петербургъ тѣло Доры. Это не будетъ очень долго и ты вѣрно не откажешь въ новомъ одолженіи мнѣ и покойницѣ. Я очень скучаю теперь и вдвое буду рада каждой твоей строчкѣ. Извини, что я пишу такъ мало: самъ, вѣрно, понимаешь, что мнѣ не до словъ».

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

### Сладкія начала злого недуга.

Долинскій все грустилъ о Дорѣ и никуда не выходилъ. Аристократъ-ботаникъ два раза заходилъ къ нему, но, замѣтивъ, что его посѣщенія въ тягость одичавшему хозяину, пересталъ его навѣщать. Старуха нѣсколько разъ посылала приглашать Долинскаго къ себѣ обѣдать—онъ всякій разъ упорно отказывался и даже сердился, что его трогаютъ. Дома онъ все ходилъ въ раздумьи по Дашиной комнатѣ и

ровно ничѣмъ не занимался. Ночами спалъ мало и то все Дору непрерывно видѣлъ во снѣ. Это его радовало. Онъ очень полюбилъ свои сновидѣнія, онъ жилъ въ нихъ и незамѣтно сталъ отыскивать въ нихъ какой-то таинственный смыслъ и значеніе. Долинскій незамѣтно началъ строить такія положенія, что Даша не вся умерла для него; что она живетъ гдѣ-то и вовсе не потеряла возможности съ нимъ видѣться. Ему начало сниться, что она откуда-то приходитъ ночами, сидитъ у его изголовья и говоритъ ему живыя ласковыя рѣчи, и онъ сердился, когда разумъ говорилъ ему, что это только сонъ, только такъ кажется. Онъ всегда слово отъ слова помнилъ все, что ему говорила ночью Дора, и всегда находилъ въ ея рѣчахъ тотъ же умъ и тотъ же характеръ, которыми дышали ея прежніе разговоры. Странно и неестественно было теперешнее состояніе Долинскаго, и въ такомъ состояніи онъ получилъ знакомое намъ письмо Анны Михайловны, а ночью ему опять снилась Дора. Она вошла въ комнату, тихо сѣла возлѣ Долинскаго на краю кровати и положила ему на лобъ свою исхудалую ручку. Лицо Доры было такъ же прекрасно, но сдѣлалось совсѣмъ прозрачнымъ. Она была въ томъ же бѣломъ платицѣ, въ которомъ ее схоронили; у ея голубого кушака былъ высоко отрѣзанъ одинъ конецъ, а съ лѣвой стороны надъ вискомъ выбивались изъ-подъ бѣлыхъ розъ неровно остриженные рукою Вѣры Сергѣевны волосы.

Долинскому казалось, что все существо Доры блеститъ какимъ-то фосфоричнымъ свѣтомъ, и онъ закрытыми глазами видѣлъ, какъ она ему улыбнулась, слышалъ, какъ она сказала:—здравствуй, мой милый!—и чувствовалъ, что она положила ему на голову свою ручку.—Я на тебя сердита теперь!—говорила Дора.—Я тебя просила работать для меня, а ты все скучаешь, все ничего не дѣлаешь. Не хорошо! Скучать нечего, я всегда съ тобой. Мнѣ хорошо, я васъ вижу всѣхъ теперь. Встань, мой другъ, пиши, я хочу, чтобъ ты писалъ, чтобъ ты отвезъ меня въ Россію. Здѣсь у насъ все чужіе въ могилахъ. Встань же! встань! работай, — звала она, потряхивая его за плечо. Долинскій вскакивалъ, открывалъ глаза—въ комнатѣ ничего не было. Онъ вздыхалъ и засыпалъ снова, и Даша немедленно слетала къ нему снова и успокаивала его, говорила, что ей хорошо, что она всѣхъ любитъ.—А глазами, говорила она,

на меня смотрѣть нельзя; никогда не смотри на меня глазами!—Возьми же, возьми меня съ собой!—вскрикивалъ во снѣ Долинскій.—Нельзя, мой другъ, нельзя,—тихо отвѣчала Даша. — Я не пущу тебя! — опять вскрикивалъ Долинскій въ своемъ тревожно-сладкомъ снѣ, протягивалъ руки къ своему видѣнію и обнималъ воздухъ, а разгоряченному его воображенію представлялась уносившаяся вдаль по синему ночному небу Дора. Сновидѣнія эти не прекращались. Наконецъ, разъ какъ-то Даша явилась Долинскому съ сморщеннымъ лбомъ, сказала: — работай, или я въ наказаніе тебѣ не буду навѣщать тебя и мнѣ будетъ скучно.

Прошло три ночи и Даша сдержала свое слово: ни на одно мгновеніе не привидѣлась она Долинскому.

Несторъ Игнатьичъ очень серьезно встревожился. Онъ на четвертый день вскочилъ съ разсвѣтомъ и сѣлъ за работу. Повѣсть сначала не вязалась, но онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе, и работа пошла удачно. Онъ писалъ, не вставая, весь день и далеко за полночь, а передъ утромъ заснулъ въ креслѣ, и Дора тотчасъ же выдѣлилась изъ сѣраго предразсвѣтнаго полумрака, прошла своей неслышной поступью и, поцѣловавъ Долинскаго въ лобъ, сказала: — умникъ, умникъ—работай.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

### Птицы пѣвчія.

Дней десять кряду Долинскій работалъ. Повѣсть подвигалась впередъ и, по мѣрѣ того, какъ онъ втягивался въ работу, мысли его приходили въ порядокъ и къ нему возвращалось не спокойствіе, а тихая грусть, которая ничему не мѣшаетъ и въ которой душа только становится выше, чище, снисходительнѣе. Проработавъ одну такую ночь до самаго разсвѣта, совершенно усталый, онъ взглянулъ въ открытое окно Дашиной спальни. Занавѣска не была опущена и робкій свѣтъ вмѣстѣ съ утренней прохладой свободно проникалъ въ комнату. Несторъ Игнатьевичъ задулъ свѣчу и, прислонясь къ креслу, сталъ смотрѣть въ окно. Свѣжій вѣтерокъ тихо скользилъ несмѣлыми порывами, слегка шевелилъ волосами Долинскаго и скоро усыпилъ его. Въ окнѣ, по обычаю, тотчасъ же показалась Дора. Она нынче была какъ-то смѣлѣе обыкновеннаго; смотрѣла



на него въ окно, улыбалась и, шутя, говорила: — Неудобь, Бука!—Долинскій разсмѣялся.

Во время этого сна, по стекламъ что-то слегка стукнуло разъ-другой, еще и еще. Долинскій проснулся, отвелъ рукою разметавшіеся волосы и взглянулъ въ окно. Высокая женщина, въ легкомъ бѣломъ платьѣ и коричневой соломенной шляпѣ, стояла передъ окномъ, поднявъ къверху руку съ зонтикомъ, ручкой котораго она только стучала въ верхнее стекло окна. Это не была золотистая головка Доры— это было хорошенькое, оживленное личико съ черными, умными глазками и французскимъ носикомъ. Однимъ словомъ, это была Вѣра Сергѣевна.

— Какъ вамъ не стыдно, Долинскій! Пропадаете, бѣгаете отъ людей и спите въ такое прекрасное утро.

— Ахъ, простите, Вѣра Сергѣевна! — отвѣчала, скоро поднимаясь, Долинскій. — Я знаю, что я невѣжа и много виноватъ передъ вашимъ семействомъ и особенно передъ вами, за все...

— Да все хандрите?

— Да, все хандрю, Вѣра Сергѣевна.

— Чего же вы прячетесь-то?

— Нѣтъ, я, кажется, не прячусь.

— Помилуйте! Посылала за вами и брата, и людей— какъ кладъ зачарованный не даетесь. Чего вы спите въ такое время, въ такое прелестное утро? Вы посмотрите, что за рай на дворѣ:

Я пришла сюда съ привѣтомъ  
Разказать, что солнце встало,  
Что оно горячимъ свѣтомъ  
По листьямъ затрепетало.

проговорила весело Вѣра Сергѣевна.

— Да, очень хорошо, — отвѣчала Долинскій, застѣнчиво улыбаясь.

— Но вы все-таки не подумайте, что я пришла къ вамъ собственно съ докладомъ о солнцѣ! я—эгоистка и пришла наложить на васъ обязательство.

— Приказывайте, Вѣра Сергѣевна.

— Вы непременно должны сейчасъ проводить меня. Мнѣ хочется далеко пройтись берегомъ, а брата нѣтъ: онъ въ Вишн уѣхалъ.

— Вѣра Сергѣевна! я вѣдь никуда не хожу.

— Ну, так пойдете.

— Право...

— Право, невѣжливо держать у окна даму и торговаться съ нею. *Vous comprenez, c'est impoli! Un homme comme il faut ne fait pas celà.*

— Да что же дѣлать, если ужъ я не *un homme comme il faut.*

— Ну, однако, я буду ждать васъ на бульварѣ, — сказала Вѣра Сергѣевна и, поклонясь слегка Долинскому, отошла отъ его окна.

Несторъ Игнатьевичъ освѣжилъ лицо, взялъ шляпу и вышелъ изъ дома въ первый разъ послѣ похоронъ Даши. На бульварѣ онъ встрѣтилъ m-ше Онучину, поклонился ей, подаль руку, и они пошли за городъ. День былъ восхитительный. Горячее итальянское солнце золотыми лучами освѣщало землю и на землѣ все казалось счастливымъ и прекраснымъ подъ этимъ солнцемъ.

— Поблагодарите меня, что я васъ вывела на свѣтъ Божій, — говорила Вѣра Сергѣевна.

— Покорно васъ благодарю, — улыбаясь, отвѣтилъ Долинскій.

— Скажите, пожалуйста, что это вы спите въ эту пору?

— Я работала ночью и только утромъ вздремнула.

— А! это другое дѣло. Выходить, я дурно сдѣлала, что васъ разбудила.

— Нѣтъ, я вамъ благодаренъ!

Долинскій проходилъ съ Вѣрой Сергѣевной часа три, очень усталъ и разсѣялся. Онъ зашелъ къ Онучинымъ обѣдать и ѣлъ съ большимъ аппетитомъ.

— Вы простите меня, Бога-ради, Серафима Григорьевна, — началъ онъ, подойдя послѣ обѣда къ старухѣ Онучиной. — Я вамъ такъ много обязанъ и до сихъ поръ не собрался даже поблагодарить васъ.

— Полноте-ка, Несторъ Игнатьевичъ! Это все дѣти хлопотали, а я ровно ничего не дѣлала, — отвѣчала старая аристократка.

Долинскій хотѣлъ узнать, сколько онъ остался должнымъ, но старуха уклонилась и отъ этого разговора.

— Кирилль, — говорила она: — прїѣдетъ, тогда съ нимъ поговорите, Несторъ Игнатьевичъ; я, право, ничего не знаю.

Вѣра Сергѣевна послѣ обѣда открыла рояль, сыграла

нѣсколько мѣсть изъ Нормы и прекрасно свѣла: *Ты для меня душа и сила.*

Долинскому припомнился кавунъ св. Сусанны, когда онъ почти несъ на своихъ рукахъ ослабѣвшую, стройную Дору, и изъ этого самаго дома слышались эти же самые звуки, далеко разносившіеся въ тихомъ воздухѣ теплой ночи.

«Все живо, только ея нѣтъ»,—подумалъ онъ.

Вѣра Сергѣевна словно подслушала думы Долинскаго и съ необыкновеннымъ чувствомъ и задушевностью запѣла:

Ахъ, полюбите меня,  
Разлюбите меня  
Вы, надежды, мечты золотыя!  
Мнѣ ужъ съ вами не жить,  
Мнѣ васъ не съ кѣмъ дѣлить,—  
Я одинъ, а кругомъ все чужіе.  
Много мукъ вызнать я,  
Быть и другъ у меня;  
Но надолго насъ съ вами разлучили.  
Тамъ подъ черной сосной,  
Надъ шумящей волной  
Друга спать навсегда положили.

— Нравится это вамъ?—спросила, быстро повернувшись лицомъ къ Долинскому, Вѣра Сергѣевна.

— Вы очень хорошо поете.

— Да, говорить. Хотите еще что-нибудь въ этомъ родѣ?

— Я радъ васъ слушать.

— Такъ въ этомъ родѣ, или въ другомъ?

— Что вы хотите, Вѣра Сергѣевна. — Въ этомъ, если вамъ угодно,—добавилъ онъ черезъ секунду.

Вьется ласточка спозкрылая  
Подъ моимъ окномъ, одишенька;  
Подъ моимъ окномъ, подъ косячатымъ,  
Есть у ласточки тепло гнѣздышко.

Вѣра Сергѣевна остановилась и спросила:

— Нравится?

— Хорошо,—отвѣчалъ чуть слышно Долинскій.

Вѣра Сергѣевна продолжала:

Слезы горькія утираючи,  
Я гляжу ей вслѣдъ воспоминаючи...  
У меня была тоже ласточка,  
Спозкрылая душа-пташечка,  
Да свила ужъ ей судьба гнѣздышко,  
Во сырой землѣ вѣковѣчное.

— Вѣра!—крикнула изъ гостиной Серафима Григорьевна.

— Что прикажете, маман?

— Терпѣть я не могу этихъ твоихъ панихидь.

— Это я для м-г Долинскаго, маман, пѣла, — отвѣчала Вѣра Сергѣевна, и искоса взглянула на своего вдругъ омрачившагося гостя.

— Другого голоса недостаетъ, я привыкла пѣть это дуэтомъ,—произнесла она, какъ бы ничего не замѣчая, взяла новый аккордъ и запѣла: *По небу полуночи.*

— Вторите мнѣ, Долинскій, — сказала Вѣра Сергѣевна, окончивъ первыя четыре строфы.

— Не умѣю. Вѣра Сергѣевна.

— Все равно, какъ-нибудь.

— Да я дурно пою.

— Ну, и пойте дурно.

Онучина взяла аккордъ и остановилась.

— Тихонько будемъ пѣть, — сказала она, обратясь къ Долинскому.—Я очень люблю это пѣть тихо, и это у меня очень хорошо идетъ съ мужскимъ голосомъ.

Вѣра Сергѣевна опять взяла аккордъ и снова запѣла; Долинскій удачно вторилъ ей довольно пріятнымъ баритономъ.

— Отлично!—одобрила Вѣра Сергѣевна.

Она артистично выполнила какую-то трудную итальянскую арію и, взявъ непосредственно затѣмъ новый, сразу щиплющій за сердце аккордъ, запѣла:

Ты не пой, душа дѣвица,  
Пѣсьи Италіи златой,  
Очаруй меня, пѣвица,  
Пѣсью родныи святой.  
Все родное сердцу ближе,  
Сердце чувствуетъ сильнѣй.  
Ну, запой же! Ну, начни же!  
«Соловей, мой соловей».

Долинскій не выдержалъ и самъ безъ зова присталъ къ голосу пѣвицы, тронувшей его за ретивое.

— Charmant! Charmant! — произнесъ чей-то незнакомый голосъ, и съ террасы въ залу вступила высокая старушка, съ строгимъ, немножко желчнымъ лицомъ, въ очкахъ и съ сѣдыми бублями. За нею шель молодой господинъ, совершеннѣйшій петербургскій *comme il faut* настоящаго времени.

Это была княгиня Стугина, бывшая помѣщица, вдова, никогда звѣзда восточная, нынѣ Богъ знаетъ что такое — особа, всѣмъ недовольная и все осуждающая. Обиженная недостаткомъ вниманія отъ молодой петербургской знати, княгиня уѣхала въ Ниццу и живетъ здѣсь четвертый годъ, браня заурядъ все русское и все заграничное. Молодой человѣкъ, сопровождающій эту особу, былъ единственный сынъ ея, молодой князь Сергѣй Стугинъ, получившій мѣсто при одномъ изъ русскихъ посольствъ въ западныхъ государствахъ Европы. Онъ ѣхалъ къ своему мѣсту и завернулъ на нѣсколько дней повидаться съ матерью.

Онучины очень обрадовались молодому князю: онъ былъ свѣжій гость изъ Россіи и, слѣдовательно, могъ сообщить самыя свѣжія новости, что и какъ тамъ дома. Сергѣй Стугинъ былъ человѣкъ весьма умный и, очевидно, не кистъ среди мелкихъ и однообразныхъ интересовъ своей узкой среды бомонда, а стоялъ au courant съ самыми разнообразными вопросами отечества.

— Крестьяне даже мои, напримѣръ, крестьяне не хотятъ платить мнѣ оброка,—жаловалась Серафима Григорьевна.— Скажите, пожалуйста, отчего это, князь?

— Вѣроятно, въ томъ выгодъ не находятъ, — отвѣчала вмѣсто сына старуха Стугина.

— Въоп, но что же дѣлать, однако, должны мы, помѣщички? Вѣдь намъ же нужно жить?

— А они, я слышала, совсѣмъ не находятъ и въ этомъ никакой надобности, —опять спокойно отвѣчала княгиня.

Молодой Стугинъ, Вѣра Сергѣевна и Долинскій разсмѣялись.

Серафима Григорьевна посмотрѣла на Стугина и поняла табаку изъ своей золотой табакерки.

— Ваша татап иногда говорить ужасныя вещи,—отнеслась она шутливо къ князю.—Просто, самой яростной демократкой является.

— Это неудивительно, Серафима Григорьевна. Во-первыхъ, татап, такимъ образомъ, не отстаегъ отъ отечественной моды, а, во-вторыхъ, и, въ самомъ дѣлѣ, какой же ужъ теперь аристократизмъ? Все смѣшалось, всѣ ровны становимся.

— Кнутьями болѣе никого, слава Богу, не порютъ,—подсказала старая княгиня.

— Мужики и купцы покушаютъ земли и становятся такими же помѣщиками, какъ и вы, и мы, и Рюриковичи, и Гедиминовичи,—досказалъ Стугинъ.

— Ну... вѣдь въ васъ, князь, въ самомъ есть частица рюриковской крови,—добродушно замѣтила Онучина.

— У него она, кажется, въ дѣтствѣ вся носомъ вытекла,—сказала княгиня, не то съ неуваженіемъ къ рюриковской крови, не то съ легкой проніей надъ сыномъ.

Старая Онучина опять понюхала табаку и тихо молвила:

— Говорять... не помню, отъ кого-то я слышала: разводы ужъ будто у насъ скоро будутъ?

— Едва ли скоро. По крайней мѣрѣ, я ничего не слыхалъ о разводахъ,—отвѣчалъ князь.

— Это удивительно! Твой дядюшка только о нихъ и умѣетъ говорить,—опять вставила Стугина.

Князь улыбнулся и отвѣтилъ, что Онучина говоритъ совсѣмъ не о полковыхъ разводахъ.

— Ахъ, простите, пожалуйста!—серьезно извинялась княгиня. — Мнѣ, когда говорятъ о Россіи и тутъ же о разводахъ — всегда представляется плацпарадъ, трубы и мой братъ, Кесарь Степанычъ, съ крашеными усами. Да и на что намъ другіе разводы?—Совсѣмъ не нужно.

— Совершенно лишнее,—поддерживалъ князь. — У насъ есть новые люди, которые будутъ безъ всего обходиться.

— Это *нишлесты*?—воскликнула m-lle Вѣра.—Ахъ, расскажите, князь, пожалуйста, что вы знаете объ этихъ забавныхъ людяхъ?

Князь не имѣлъ о нишлестахъ чудовищныхъ понятій, ходившихъ насчетъ этого страннаго народа въ нѣкоторыхъ общественныхъ кружкахъ Петербурга. Онъ рассказывалъ очень много курьезнаго о ихъ нравахъ, обычаяхъ, стремленіяхъ и образѣ жизни. Всѣ слушали этотъ рассказъ съ большимъ вниманіемъ; особенно слѣдилъ за нимъ Долинскій, который узнавалъ въ рассказѣ развитіе идей, оставленныхъ имъ въ Россіи еще въ зародышѣ, и старая княгиня Стугина, Серафима Григорьевна, тоже слушала, даже и очень неравнодушно. Она не одинъ разъ перебивала Стугина вопросомъ:

— Ну, а позвольте, князь... Какъ же они того, что, бишь, я хотѣла это спросить?..

Стугинъ останавливался.

— Да, вспомнила.—Какъ они этакъ...

— Живуть?

— Нѣтъ, не живутъ, а, напримѣръ, если съ ними встрѣ-  
тишься, какъ они... въ какомъ родѣ?

Князь не совсѣмъ понялъ вопросъ; но его мать спокойно  
посмотрѣла черезъ свои очки и подсказала:

— Я думаю, должно-быть что-нибудь въ родѣ Ягу, ко-  
торые у Свифта.

— Чтò это за Ягу, княгиня?

— Ну, будто не помните, чтò Гуливеръ видѣлъ? На ко-  
торыхъ лошади-то ѣздили? Ну, люди такіе, или нелюди  
такіе: лохматые, грязные?

— Ну, чтò это?—воскликнула Серафима Григорьевна.—  
Неужто, князь, они, въ самомъ дѣлѣ, въ этомъ родѣ?

— Немножко,—отвѣчалъ, смѣясь, Стугинъ.

— Полагаю, трудно довольно отличить коня отъ всад-  
ника,—поддержала сына княгиня.

— Ну, чтò это! Это ужъ даже непріятно! — опять вос-  
кликнула Онучина, воображая, вѣроятно, какъ косматые пе-  
тербургскіе Ягу лазаютъ по деревьямъ въ Лѣтнемъ саду,  
или на елагинскомъ пуантѣ и швыряютъ сверху всякими  
нечистотами.—И женщины такія жъ бываютъ? — спросила  
она черезъ секунду.

— Два пѣла въ каждомъ родѣ должны быть необходимо—  
иначе родъ погибнетъ.

— Это ужасно! А, впрочемъ, вѣдь я какъ-то читала, что  
гориллы въ Африкѣ, или шампаньэ, тоже будто уносятъ къ  
себѣ женщинъ?

Серафима Григорьевна вся содрогнулась.

Князь Сергій очень распространился насчетъ отношеній  
нигилистокъ къ нигилистамъ и, владѣя хорошо языкомъ,  
разсказалъ нѣсколько очень забавныхъ анекдотовъ.

— Дуры!—произнесла, по окончаніи разсказа, Серафима  
Григорьевна.

— И пожить-то какъ слѣдуетъ не умѣютъ! — смотря че-  
резъ очки, добавила княгиня.

— Но это все презабавно,—замѣтила Вѣра Сергѣевна и  
вышла съ молодымъ княземъ на террасу.

— Довоспиталась сторонюшка! дозрѣла! Скотный дворъ  
настоящій дѣлается! — презрительно уронила Стугина.

Серафима Григорьевна понюхала съ особеннымъ удовольствіемъ табачку и, улыбувшись, спросила:

— Вы, Елена Степановна, помните Вастилу?

— Княжну Палагею Никитишну? — спросила, немножко надвинувъ брови, Стугина.

— Да.

— Ну, кто жъ ея не помнитъ.

— Но, впрочемъ, та вѣдь... то все-таки совсѣмъ въ другомъ родѣ?

— Ну, еще бы!

Старушки обѣ задумались.

— Или княгиню Марѳу Викторовну въ ту пору, какъ она съ своимъ мужемъ разсталась? — спросила Серафима Григорьевна опять черезъ минуту.

— Ужъ именно! — отвѣчала, покачавъ головой, Стугина.

— Бѣсъ въ нее вселился. Очень ужъ проказила!

— Проказила княгиня; но какъ хороша-то была!

Серафима Григорьевна съ умиленіемъ смотрѣла на стѣну, вообразивъ передъ собою воспоминаемую княгиню Марѳу Викторовну.

Теперь, въ свою очередь, Стугина понюхала табачку и, какъ бы нехотя, спросила:

— Да, была хороша, точно... да съ кѣмъ, бишь, она изъ Россіи-то пропала?

— Изъ Россіи? — Изъ Россіи она уѣхала съ этимъ... какъ его?.. ну, да все равно — съ французскимъ актеромъ, а потомъ была наѣздницей въ циркѣ, въ Лондонѣ; а послѣ князя Петра, ужъ за границей, ужъ самой сорокъ лѣтъ было, съ молоденькой и съ прехорошенькой женой развела... Такая грѣховодница!

— А потомъ-то! потомъ-то! — опять воскликнула, оживляясь, Серафима Григорьевна.

— Да, съ галерникомъ, я слышала, въ Алжиръ бѣжала.

— Страшный былъ такой!

— Помню я его — арабъ, весь оливковой, носъ, глаза... весь страсть неистовая! Точно, что чудо какъ былъ интересень. Она и съ арабами, вѣдь, кажется, кочевала. Кажется, такъ? Ее тамъ встрѣтилъ одинъ мой знакомый путешественникъ — давно это, ужъ лѣтъ двадцать. У какого-то шейха, говорятъ, была любовницею, что ли.

— Да, да, да; и имъ-то, и этимъ шейхомъ-то даже какъ



ребенкомъ управляла!—подсказывала, все болѣе оживляясь и двигаясь на креслѣ, Серафима Григорьевна.

— Или княжна Агрипшина Лукинишна!—произнесла она черезъ минуту, смотря пристально въ глаза Стугиной.

— Княжна Сodomская, какъ называлъ ее дядя Леонъ,— проронила въ видахъ поясненія Стугина.— Не люблю ея.

— За что, княгиня?

— Такъ, ужъ черзчуръ какъ-то она... специалистка была великая.

— Ну, не говорите этого, душечка княгиня; въ Сибири она себя вела, можетъ-быть, какъ никто.

— Что же это именно? что за мужемъ въ ссылку-то пошла? Очень великое дѣло.

— Нѣтъ-съ, мало что пошла, а какъ жила? что вынесла?

— Я думаю, ничуть не больше другихъ.

— Сама бѣлье ему стирала, сама щи варила, въ юртѣ какой-то жила...

— Ну, и что жъ тутъ такого? что жъ тутъ такого удивительнаго?

— Да вонъ кузень Grégoire— вы знаете, вѣдь его послѣ амнистїи тоже возвратили.

— Слышала.

— Говорить, что всѣ они—эти несчастные декабристы, которые были вмѣстѣ, иначе ее и не звали, какъ матерью: идемъ, говорить, бывало, на работу изъ казармы— зимою, въ полѣ темно еще, а она сидитъ на снѣжку съ корзиной и лепешки намъ раздаетъ—всякому по лепешкѣ. А мы, бывало: мама, мама, мама, наша родная, кричимъ и лѣземъ хоть на лету ручку ея поцѣловать.

Серафима Григорьевна сморгнула слезу и кашлянула.

— Какъ, бывало, увидимъ ее, — продолжала Серафима Григорьевна: — какъ только еще издали завидимъ ее, всѣ бѣжимъ и кричимъ: «мама наша идетъ! родная идетъ!» — совсѣмъ какъ галченята.

Серафима Григорьевна не совладѣла съ слезой и должна была отвернуться.

— Это прекрасно все, — начала тихо Стугина: — только героизма-то все-таки тутъ никакого нѣтъ. Бабки наши умѣли терпѣть, какъ имъ ноздри рвали и руки вывергивали, а тутъ— что жъ тутъ такого, скажите на милость?.. Еще бы въ несчастїи бросить!

— А вѣдь бросають же, княгиня, — возразила, поворачиваясь, Серафима Григорьевна.

— Приказничихи или поповны, очень можетъ быть—не стану спорить.

— Ну, нѣтъ, княгиня, я знаю... я вотъ теперь слышала про одну, совсѣмъ не приказничиху, а...

— Ахъ, помилуйте, та сѣге Серафима Григорьевна! не знаю, кого вы такую знаете, или про кого слышали; но во всякомъ случаѣ, если это не приказничиха, такъ какая-нибудь другая *personne méprisable*, о которой все-таки говорить не стоить.

Серафима Григорьевна помолчала и потомъ, смакуя каждое свое слово, произнесла:

— А я, какъ вы хотите, все опять къ княжнѣ Агриппинѣ. Какъ тамъ хотите говорите, ну, а все... изъ этой роскоши... изъ свѣта... и въ какую-то дымную юрту... Ужасно!

— Вы это такъ говорите, какъ будто бы вы сами не пошли бы ни за что?

— Ахъ, нѣтъ; Боже меня сохрани? Не дай Богъ такого несчастья; но, разумѣется, пошла бы.

— Ну, такъ что же вы такъ восхваляете княжну Агриппину Лукнишину! Конечно, все-таки и она была не бишка какая-нибудь, а все-таки женщина; но вѣдь, повторяю, если такія ничтожныя вещи ставить женщинѣ въ особую заслугу, такъ, я думаю, очень много найдется имѣющихъ совершенно такія же права на дань точно такого же изумления.

— Ахъ, Боже мой! представьте, я вѣдь совершенно забыла, что вѣдь и вы тоже...

— Да я что тамъ была—безъ году недѣлю... а, впрочемъ, да: бѣлье мужу тоже стирала и даже послѣ мужниной смерти пироги нашимъ арестантамъ версть за семь въ лоткѣ носила.

— По снѣгу!

— Какой наивный вопросъ, та сѣге Серафима Григорьевна!—Княгиня весело засмѣялась. — Вы, пожалуйста, не сердитесь, что я смѣюсь: я вспомнила, какъ вы боитесь снѣгу.

— Ахъ, ужасъ! Зима это... это... оцѣненіе; это... я просто не знаю, чтò это такое.

Ступина смотрѣла въ открытую дверь и вспомнила что-то особенно для нея милое и почтенное.

— Нѣтъ, вотъ, — сказала она, вздохнувъ: — вотъ графиню Нишу, да ея гувернантку... Какъ она называлась: Eugénie, или Eudoxie, этихъ женщинъ стоить вспомнить и передъ именами ихъ поклониться.

Въ комнатѣ наступила минута безмолвной тишины, какъ бы въ память этихъ двухъ женщинъ, передъ одними именами которыхъ хотѣла поклониться непреклонная, сѣдая голова Стужиной.

— Въ этотъ разъ, когда вы были въ Россіи, вы не видали графини Ниши? — спросила она послѣ паузы Онушину.

— Нѣтъ, не удалось мнѣ побывать за Москвою.

— Сестра моя, Анна, была у нея въ монастырѣ. Пишетъ, что это живой мертвецъ, совершенная, говоритъ, адамова голова, обтянутая желтой кожей.

Серафима Григорьевна опять повернулась на креслѣ и, глядя въ растворенное окно, нервно обрывала на колѣнѣхъ зелено-сѣрый, бархатный листочекъ «Люби-да-помни».

— Да, — произнесла она черезъ минуту: — да, умѣли кутить, но и любить умѣли.

— Люди были; «быть вѣкъ богатырей», какъ написалъ Давыдовъ.

— А нынче все это... какая-то...

— Дребедень, — рѣшила княгиня.

— Все это какъ-то... что-то такое хотять дѣлать, и все...

— Наши старыя платья наизнанку, по бѣдности своей, донашиваютъ, — закончила княгиня, поправляя на вискахъ свои сѣдые буллы.

— И этотъ царь! — проговорила она, складывая съ умилениемъ свои аристократическія руки и снова улетая въ свое прошедшее. — Этотъ божественный, прекрасный Александръ Павловичъ! этотъ благороднѣйшій рыцарь! этотъ джентльменъ съ головы до ногъ!

— Какіе люди и какое время было!

— То-то, добавляйте, пожалуйста, всегда: *было*, — заключила Стужина.

Старушки помолчали, поносились въ сферѣ давно минувшаго; потихоньку вздохнули и опять вошли въ свое сѣдое настоящее. Самъ Ларошфуко, такъ хорошо знавшій о чемъ сожальютъ подъ старость женщины, не совсѣмъ бы вѣрно разгадалъ эти два тихіе, сдержанные вздоха, со всею бѣ-

щеною силою молодости вырвавшіеся изъ родившей ихъ отцвѣтшей, старушечьей груди.

Во время этой бесѣды, безмолвнымъ слушателемъ которой оставался одинъ Долинскій, на тепло прогрѣтую землю спустился сине-розовый итальянскій вечеръ; Вѣра Сергѣевна съ молодымъ Стугиннымъ вернулись съ террасы и всѣмъ вздумалось пройтись къ морю. Дорогой княгиня совсѣмъ потеряла свой желчный тонъ и даже очень оживилась; она рассказала нѣсколько скабрзныхъ исторіекъ изъ маловѣдомаго намъ міра и вѣка, и каждая изъ этихъ исторіекъ была гораздо интереснѣе свѣтскихъ романовъ одной русской писательницы, по мнѣнію которой влюбленный человѣкъ «хорошаго тона» въ самую горячую минуту страсти ничего не можетъ сдѣлать умнѣе, какъ съ большимъ жаромъ поцѣловать ея руку и *прочестъ ей слѣдующее стихотвореніе Альфреда Мюссе*. Стихотвореніе это я не выписываю, опасаясь, чтобы оно не ко времени не припомнилось кому-нибудь изъ моихъ читателей, которому еще суждено въ жизни увидѣть

Рядъ волшебныхъ измѣненій  
Милаго лица.

Я не хочу, чтобы эти прекрасные стихи заставили впечатлительнаго несчастливца возненавидѣть очень хорошаго поэта Альфреда Мюссе.

Долинскій слушалъ рассказы княгини, порою смѣялся и вообще былъ занятъ, былъ заинтересованъ ими не меньше всѣхъ прочихъ слушателей. Онъ возвратился домой въ такомъ веселомъ расположеніи духа, въ какомъ не чувствовалъ себя еще ни разу съ самой смерти Доры.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Не куется, а плющится.

Долинскій зажегъ у себя огонь и прошелся нѣсколько разъ по комнатѣ, потомъ раздѣлся и легъ въ постель, размышляя о добромъ старомъ времени. Онъ уснулъ подъ впечатлѣніями, навѣянными на него разговоромъ строгихъ старушекъ.

— «Вотъ взойдетъ въ свою пору Вѣра Сергѣевна,—думалъ онъ, засыпая:—и она, пожалуй, будетъ дѣлать такія же чудеса. Отчего же ей ихъ и не дѣлать?.. А теперь она еще, кажется, дѣвушка хорошая, Любитъ ей очень хочется,

говорила Даша, да почему Даша это могла знать?.. Вздоръ это... А какая у нея, однако, фигура! Рукавая какая... У Доры была крошечная лапка, но не такая. И какая грація во всемъ! Раса, значить.—Конечно, онѣ не рождены для вдохновеній и молитвъ; но бедункой—на арабскомъ конѣ развѣзжать съ оливковымъ шейхомъ...» И вотъ видится Долинскому Вѣра Сергѣевна на огневомъ арабскомъ конѣ, а возлѣ нея статный шейхъ въ бѣломъ плащѣ, и этотъ шейхъ самъ онѣ Долинскій. «Поскачемъ», говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, и они несутся, несутся; кругомъ палящій зной, въ сонномъ воздухѣ тихо дремлютъ одинокія пальмы; изъ мелкаго кустарника выскочилъ желтый левъ, прыгнулъ и, притаясь, легъ вровень съ травой. — «Не отставай!» говоритъ ему Вѣра Сергѣевна, оскорбляя своего скакуна ударомъ. «Не отставай!» повторяетъ она, уносясь отъ него далѣе. «Не отставай же, не отставай!» кричитъ она чуть слышно, вовсе исчезая изъ его глазъ за красною чертою огненнаго горизонта. Конецъ Долинскаго ни съ мѣста, онѣ храпитъ и пятится. На небѣ темнѣетъ, надвигаетъ ночь, лошадь Долинскаго все дрожить, все мнется и на немъ самомъ не плащъ, а бѣлый холщевый саванъ, и лошадь его ужъ совсѣмъ не лошадь, а сѣрый волкъ. «Утки крикнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, просыпается гамаюнъ - птица, шевелится зеленый боръ», заляскалъ, стучая челюстями, сѣрый волкъ. «Хочешь, я спою тебѣ веселую пѣсенку?» спрашиваетъ сѣрый волкъ и, не дожидаясь отвѣта, затягиваетъ: «Вѣчная память, вѣчная память». «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною!» съ веселымъ хохотомъ прокричала бѣшено пронесшаяся мимо его на своемъ скакунѣ Вѣра Сергѣевна. «Ничто, мой другъ, не вѣчно подъ луною», внушительно рассказываетъ Долинскому долговязый шейхъ, раскачиваясь на высокомъ сѣдлѣ. Долинскій только хотѣлъ взглядѣться въ этого шейха, но того уже не было, и его бѣлый бурнусъ развѣвается въ темнотѣ возлѣ стройной фигуры Вѣры Сергѣевны.

Долинскій хотѣлъ что-то сказать, но вдругъ около него зашевелилась трава, вдругъ она начала расти и расти, такъ что слышно было, какъ она растетъ. Росла она шибко и высоко—выше роста человѣческаго; изъ нея отовсюду безпрестанно вылетали огненные свѣтляки и во всѣхъ направленіяхъ описывали правильныя, блестящія параболы; въ

неподвижномъ воздухѣ спирался невыносимый зной и удушяющій запахъ зеленыхъ майскихъ мушекъ.

Долинскій задыхался, а свѣтляки передъ нимъ все мелькали, и зеленыя майки качались на гнутыхъ стебляхъ травы и наполняли своимъ удушливымъ запахомъ неподвижный воздухъ, а трава все растетъ, растетъ и ужъ Долинскому и нечѣмъ дышать, и негдѣ повернуться. Отъ страшной, жгучей боли въ груди онъ болѣзненно вскрикнулъ, но голосъ его беззвучно замеръ въ сонномъ воздухѣ пустыни, и только переросшая траву задумчивая пальма тихо покачала ему своей печальной головкой.

Долинскій проснулся, тяжело вздохнулъ и оглянулъ комнату. Стѣны чуть сѣрѣли слабымъ превосходнымъ мерцаніемъ и прямо передъ лицомъ Долинскаго едва обрисовывалась на гвоздѣ соломенная шляпа Доры. «Дайте мнѣ, пожалуйста, эту шляпу», попросила его Вѣра Сергѣевна, чуть только онъ заснулъ снова. «Я скакала, ахъ, какъ я скакала цѣлую ночь!» весело говорила она ему, вся пылая свѣжимъ румянцемъ: «и вообразите, я потеряла мою шляпу въ Африкѣ. — Тамъ теперь растетъ ужасная трава, въ которой ничего нельзя найти. Вы знаете эту траву?»

— «О, я ее очень хорошо знаю», подумалъ Долинскій.

— А если знаешь,—заговорила Вѣра Сергѣевна, — такъ подавай же мнѣ скорѣй, скорѣе подавай мнѣ эту шляпу своей мертвой Доры. Голосъ у Вѣры Сергѣевны былъ рѣзкій, какъ трескъ дѣтскаго барабана, но такой голосъ, что нервы его трепетали и мышцы сами спѣшили исполнять ея капризы.—Тише, тише! закричала ему Вѣра Сергѣевна, когда Долинскій коснулся руками полей Дорушкиной шляпы. Долинскій оглянулся.—Развѣ не видишь, что тамъ паутина? Тамъ пауки сидятъ, мерзкіе, скверные пауки живутъ въ этой гадкой шляпѣ! И ты думалъ, что я ее надѣну! И ты это думалъ!.. Ха, ха, ха! — Вѣра Сергѣевна захохотала.— Пауки? Зачѣмъ же пауки? подумалъ обиженный Долинскій и пристально взглянулъ на шляпу. Съ полей ея почти до земли падалъ длинный газовый вуаль, а подъ дымкой этого вуаля что-то бѣлѣлось. Еще секунда, и тихо, какъ легкая туманная картина, подъ нимъ обрисовывается мертвая головка Доры. Глаза ея закрыты, на лицѣ могильная сѣрая пыль и подъ ней суровая печать смерти, синія уста шевелятся безъ звука. Откуда-то взялся сѣрый большой паукъ, торо-

пливо закосилъ всѣми своими длинными ногами, проворно пробѣжалъ по мертвому лицу и скрылся на плечѣ въ золотыхъ кудряхъ. На лѣво ворочала скользкими усиками сѣрая стѣнная мокрица. Вездѣ была сѣро-зеленоватая плѣсень, отовсюду несло холодомъ и могилой.

— «Мѣсяцъ свѣтитъ, мертвецъ ѣдетъ, не боишься ли ты меня, добрый молодецъ?»—спрашиваетъ Дора.

Голосъ у нея не рѣзкій, какъ у Вѣры Сергѣевны, а какой-то гулкой, круглозвучный, словно запоздалая цапля тяжело машетъ крыльями, пролетая темной ночью надъ соннымъ болотомъ. И въ самомъ дѣлѣ, это совсѣмъ даже не голосъ. Уста мертвой не движутся, а могильная пыль не шевелится ни на одномъ мускулѣ ея лица, и только тяжелыя вѣки медленно распахиваются, открываютъ на мгновение злые, зеленые, лишенные всякаго блеска глаза, и опять такъ же медленно захлопываются, но зеленые зрачки все съ тою же злостью смотрятъ изъ-подъ верхняго вѣка.

— Чѣмъ же ты обижена? Скажи, чѣмъ оскорбилъ я тебя?—протягивая руки, спрашивалъ Долинскій, но вмѣсто отвѣта у него надъ самымъ ухомъ прогорланилъ пѣтухъ, и вдругъ все свикло. Долинскій проснулся.

На дворѣ было утро, подъ окномъ расхрипывалъ голосистый красный пѣтухъ, а изъ маленькаго чулана за палисадникомъ раздавалось веселое кудахтанье двухъ фаворитныхъ куръ домовитой французенки.

Свѣже утро не произвело на Долинскаго хорошаго вліянія; онъ всталъ сумрачный и разстроенный: долго ходилъ въ большомъ безнокойствѣ изъ угла въ уголь и, наконецъ, сѣлъ за работу.

— Madame Бюжарь! — сказала онъ, когда французенка подала ему кофе:—я впередъ не буду поднимать шторы.

— Bon,—отвѣчала хозяйка.

— А вы, madame Бюжарь, если кто меня будетъ спрашивать, говорите всѣмъ, что я боленъ.

— C'est bien, monsieur.

— Что я ушелъ куда-нибудь или уѣхалъ,—ну, какъ тамъ хотите.

— C'est ça, monsieur.

— Hélas! pauvre diable, comme il est triste! — говорила французенка, выходя отъ постояльца и съ состраданіемъ качая своей сѣдой головою.

Долинскій въ этотъ день работалъ по обыкновенію, до самыхъ сумерекъ. Никто его не отвлекалъ и не беспокоилъ. Передъ вечеромъ m-me Бюжаръ принесла ему обѣдъ.

— Madame, — сказала онъ ей: — не носите мнѣ болѣе обѣда.

— Mon Dieu! не хотите ли вы уморить себя голодомъ.

— Нѣтъ, я боленъ. Вы мнѣ покупайте немножко зелени и хлѣба. Я болѣе ничего не могу ѣсть.

Француженка молча смотрѣла на него во всѣ глаза.

— Adieu, madame Бюжаръ, — сказалъ онъ, взявъ и пожавъ ея руку.

Старуха только изумлялась.

— Это чортъ знаетъ что такое, — говорилъ порывисто, вскочивъ и торопливо запирая на ключъ свою дверь, Долинскій. — Какое мнѣ дѣло до этихъ барынь и до ихъ тамъ какихъ-то подвиговъ? что мнѣ тамъ такое! — повторялъ онъ, кипящаясь и съ негодованіемъ бѣгая изъ угла въ уголь. — Что мнѣ за дѣло до ихъ какихъ-то свѣтскихъ скандаловъ, или до какихъ-то Ягу! У меня пропало, *пропало* съ земли все, чѣмъ мнѣ милъ былъ свѣтъ бѣлый, а я буду утѣшаться! Буду смѣяться! слушать! разговаривать! О чемъ мнѣ разговаривать, когда *все умерло*, сгнуло, пропало, *сгнило*...

Онъ сердито повернулъ въ сторону, сѣлъ къ столу и упорно, не разгибаясь, работалъ до вечера. Къ сумеркамъ Долинскій, значительно успокоенный, снова долго ходилъ изъ угла въ уголь по залѣ. Машинально онъ иногда оставался передъ какою-нибудь одною вещью, осматривалъ ее, трогалъ рукою и опять шелъ далѣе, до новаго желанія тронуться до чего-нибудь другого. Остановясь у столика, на которомъ стояла лампа, онъ вытащилъ изъ-подъ нея небольшую книжечку избранныхъ мыслей изъ ученія Спинозы, перелистывалъ небрежно страницы и вдругъ остановился. Между двумя печатными листками, спокойно и молчаливо притаясь, лежалъ листокъ почтовой бумаги, на которомъ было сдѣлано нѣсколько короткихъ замѣтокъ рукою Доры, и въ концѣ послѣдней замѣтки прибавлено: «сегодня до 87-й стр.». Стояло число, шедшее за три дня до ея смерти.

Долинскій посмотрѣлъ замѣтки и, подойдя къ окну, пробѣжалъ три страницы далѣе Дорушкиной закладки, отпесъ



книгу на столъ въ комнату Доры и самъ снова вышелъ въ залу. Въ его маленькой, одноконой квартирѣ было совершенно тихо. Городской шумъ только изрѣдка доносился сюда съ легкимъ вѣтеркомъ черезъ открытую форточку и въ ту же минуту замиралъ.

Настала ночь. Возшедшая луна, ударяя въ стекла окна, кидала на полъ три полосы блѣднаго свѣта. Въ воздухѣ было свѣжо; съ надворья пахло померанцами и розой. Въ форточку, весело гудя, влетѣлъ ночной жукъ, шибко треснулся съ разлета о стѣну, зажужжалъ и отчаянно завертѣлся на своихъ роговыхъ надкрыльяхъ.

Долинскій остановился, бережно взявъ со стола барахтавашагося на спинкѣ жука и поднесъ его на ладони къ открытой форточкѣ. Жукъ дрыгнулъ своими пружинистыми ножками, широко разставилъ въ стороны крылья, загудѣлъ и понесся. Съ надворья въ лицо Долинскому пахнула ароматная струя чрезмѣрно теплаго воздуха; ласково шевельнула она его сухими волосами, какъ будто что-то шепнула на ухо и безслѣдно разлилась по комнатѣ.

— Собака... кошка... мышь — жива, а нѣтъ Кордели! Вотъ этотъ жукъ летаетъ лунной ночью, а Дора мертвая лежитъ въ сырой могилѣ! — мелькнуло въ головѣ Долинскаго.

Онъ продолжалъ стоять у окна и глядѣлъ въ открытую форточку на дремлющія въ тѣни кусты и цвѣточныя клумбы. Луна была ему прямо въ лицо и ярко обливала своимъ желтымъ свѣтомъ всю верхнюю часть его тѣла.

Если бы въ это время кто-нибудь увидѣлъ въ форточкѣ его красивое до мертвенности блѣдное лицо, эффектно освѣщенное луною, тотъ непременно отскочилъ бы отъ него въ сторону, и поневолѣ вспомнилъ бы одну изъ очаровательныхъ легендъ о душахъ, бродящихъ на землѣ въ ожиданіи прощенія своихъ земныхъ согрѣшеній. Уставшіе глаза Долинскаго смотрѣли съ тихою грустью и безпредѣльною добротой, и какъ-то совсѣмъ ничего земного не было въ этомъ взглядѣ; въ лицѣ его тоже ни одинъ мускулъ не двигался, и даже, кажется, самое сѣрдце не билось. Это былъ Наль, разлученный съ своей Дамаянти; это было воплощеніе идеала духа, для котораго нѣмы всѣ пѣсни земли, который знаетъ другія пѣсни и полонъ томительнаго желанія снова услышать ихъ памятные звуки.

Долинскій, въ самомъ дѣлѣ, не былъ съ самимъ собою.

Словно на волшебныхъ крыльяхъ воспоминаніе его облетало все ему нѣкогда милое, все живущее далеко и спящее въ своихъ тихихъ гробахъ. Дѣтство, сердитый старикъ Днѣпръ, раздольная заднѣпровская пойма, облитая такимъ же серебристымъ свѣтомъ; сестра съ курчавой головкой, братъ, отецъ въ синихъ очкахъ съ огромной чепчи-минеей, мать, Анна Михайловна, Дора—все ему было гораздо ближе, чѣмъ онъ самъ себѣ и оконная рама, о которую онъ опирался головою. Онъ совсѣмъ видѣлъ эту широкую пойму, эти песчаные острова, заросшіе густой лозою, которой вольнолюбивый черторей каждую полночь начинаетъ рассказывать про ту чудную долю—минувшую, когда пойма цѣлымъ Днѣпромъ умывалась, а въ головы горы клала и степью укрывалась; видѣлъ онъ и темный, черный боръ, заканчивающій картину; онъ совсѣмъ видѣлъ Анну Михайловну, слышалъ, что она говоритъ, зналъ, что она думаетъ: онъ видѣлъ мать и чувствовалъ ея присутствіе; съ нимъ неразлучна была Дора. Они были гдѣ-то. *Гдѣ же?* Гдѣ-то, гдѣ и онъ; да и что за дѣло, гдѣ?.. Но она есть; она существуетъ... — *Умерла!*—говоритъ себѣ Долинскій, стоя въ своемъ прежнемъ положеніи.—И что жъ такое, что умерла?—Нѣтъ ея; *совсѣмъ нѣтъ*—сгнила... Эта воля, эта душа, этотъ умъ — все, все это *сгнило*... Столько жизни пропало безъ слѣда... что жъ я люблю теперь... въ чемъ тѣла нѣтъ, нѣтъ жизни; ни тѣни нѣтъ, ни звука слабаго...

Среди жуткаго ночного безмолвія, за спиною Долинскаго что-то тихо треснуло и зазвучало, какъ лопнувшая гитарная квинта. Долинскій вздрогнулъ и прижался къ оконницѣ. Безпокойно и съ неувѣренностью оглянулся онъ назадъ: все было тихо; мѣсяцъ прихотливо ложился широкими свѣтлыми полосами на блестящій полъ, и на одной половинѣ едва означалась новая, тоненькая трещина, которой, однако, нельзя было замѣтить при лунномъ полусвѣтѣ.

Долинскій вздохнулъ, обернулся и снова спокойно сталъ къ окошку.

— Легко какъ поддаваться суевѣрному страху! — рассуждалъ онъ, стоя попрежнему у открытой форточки.—Треснетъ что-нибудь въ пустой комнатѣ — и вздрогнешь, и готовъ пугаться, а воображеніе, по дѣтской привычкѣ, сейчасъ и подрисовываетъ, въ головѣ вдругъ пролетитъ то одно, то другое, и готовъ вѣрить, что все, что кажется, то будто

непремѣнно и есть... Милые, чистые, теплые всякою вѣрою дѣтскіе годы! Куда вы мѣнули? Куда унеслись безвозвратно?.. Все безвозвратно... Ушло и нѣтъ его, а между тѣмъ, оно живетъ въ душѣ — былое... *Въ души!*.. Ну, въ *чемъ-то*, вѣдь вотъ живетъ же Дора во мнѣ самомъ, въ моей любви и мукахъ... Странная мысль! Луна одна все та же, вѣчно, а мнѣ сдается даже, что я ее видалъ совсѣмъ когда-то не такую... Вонъ этотъ бѣлый мотылѣкъ, что съ сумерекъ уснулъ на розовомъ листочкѣ, и дремлетъ, обли-тый дрожащимъ, луннымъ свѣтомъ, неужто чувствуетъ его точь-въ-точь, какъ и я?.. А можетъ-быть, что та же самая луна ему совсѣмъ иной казалась, когда, дней пять назадъ, подъ листочкомъ онъ спалъ безкрылою козявкой?.. Навѣрно такъ; его глаза теперь, конечно, видятъ все иначе и все теперь въ его сознаниіи стоитъ совсѣмъ иначе... Два шага человѣческихъ съ трудомъ переползаль онъ въ сутки и немощный выматывалъ себѣ тяжелый саванъ, и вотъ теперь — какая прелесть! два крылышка, навывать глазки, жизнь въ свѣтломъ воздухѣ; воздушная любовь и сладкій сонъ на розовой постели... А онъ вѣдь, въ сущности, все тотъ же... Онъ измѣнился, да, но къ лучшему, конечно. А жукъ, который прилетѣлъ съ надворья, а я, а всѣ мы? Мы сгнить должны. Законъ природы... странно! Природа дышитъ и обновляется въ своемъ торжественномъ безсмертьи; луна ея сегодня свѣтитъ, какъ свѣтила въ ту ночь, которою въ ея глазахъ убитъ былъ братомъ Авель; и червячки съ козявками по смерти также оживаютъ, а Авель, а человѣкъ — вѣнецъ земной природы, гниетъ безслѣдно... Гдѣ Соломонъ, гдѣ эта савская царица, которая такъ рабски шла, чтобъ положить свою дань благоговѣнія къ ногамъ царя и исполна мысли?.. Неужто исчезли оба — и этотъ царь, и эта савская царица исчезли!.. Точно такъ исчезли, какъ дуралей какой-нибудь, который разгрызаль лѣсной орѣхъ съ гораздо бѣльшимъ размышленіемъ, чѣмъ повторяль по наслыху, что «ничто не ново подъ луною»? Не можетъ быть. Приходило ли этому дураку въ голову, какой страшный смыслъ, какая ужасная загадка положена въ этихъ пяти словахъ, которыя болталъ его языкъ? А такъ сказать, сболтнуть «ничто не ново подъ луной» — вѣдь, кажется, и очень будто просто! И всего *только пять* словъ... п мозгъ вертится, изнемогаетъ мозгъ передъ ними и.. нѣтъ яснаго

отвѣта... Противорѣчій нить все путается больше, и вѣрять на слово приходится, что все живущее не ново...

Не ново!.. Нѣтъ новаго, такъ старое жь пропасть не можетъ... Все въ экономіи природы должно существовать и самое гніеніе... одинъ пріемъ... одинъ процесъ и снова жизнь... Козявки нѣтъ — летають мотылекъ; умершій Соломонъ не новъ былъ подъ луною и каждый такъ... Быть-можетъ, я ужь жилъ когда-то? Порой вѣдь что-то помнится жь такое, чего никакъ себѣ растолковать не можешь, какой-то свѣтъ, такой совсѣмъ не солнечный, не огненный, не лунный; слова беззвучныя и звуки страннаго значенія... Быть-можетъ, что Картушъ шнырялъ когда-нибудь лисицей прежде, иль волкомъ рыщетъ нынче Пугачевъ; Іуда въ кардинальской шапкѣ, а Каинъ въ обществѣ моравскихъ братьевъ, и на одной ногѣ въ лѣсу стоитъ Ньютонъ деришемъ. Самъ я, я думаю, что я, лѣтъ тридцать какъ всего возникшее творенье, а можетъ-быть... я жилъ еще въ Картушѣ, въ Магометѣ, или въ томъ трусѣ, который приѣзжалъ одинъ изъ термопильскаго ущелья!.. Да, наконецъ, въ моемъ отцѣ иль матери... Прямая вещь! Быть-можетъ, Соломона мысль меня смущаетъ и волнуетъ совсѣмъ не случаемъ, не спроста! Вѣдь Соломонъ живетъ? Живетъ, конечно! Не ново здѣсь ничто, такъ старому нельзя погибнуть, ибо иначе, какъ ничто не ново? Матерія! матерія и сила!.. Да вѣдь поэзія, лиризмъ — вѣдь тоже силы... А пѣсня! Неужели жь не сила? А музыка, которая вліяетъ на животныхъ, которую приходятъ слушать рыбы!.. А эта странная гармонія рѣчей, которыхъ «значенье пусто и ничтожно, а имъ безъ волненія внимать невозможно»? Да мало ли чего еще!.. Не всѣ жь матеріи такъ тонки, что ихъ нашъ глазъ способенъ видѣть и отличать... Исторія видѣній, сновъ, предчувствій ясна совсѣмъ не столько, чтобы рѣшить, одно ли то живетъ, что мѣста требуетъ въ пространствѣ. А если Соломонъ теперь такъ тонокъ, такъ прозраченъ, что можетъ стать передъ моимъ окномъ и не заслонить отъ глазъ моихъ листка, гдѣ дремлетъ этотъ мотылекъ? Не новъ онъ будетъ, но иной. Кто докажетъ мнѣ, что его нѣтъ?.. Вѣдь что жь такое скептицизмъ? Ну, фараонова топайшая корова, которая, сожравъ свою тучнѣйшую сестру, все такъ тоща, что сердце у нея стучитъ по голымъ ребрамъ?.. Вѣдь позволительно же вѣрять въ то, по

крайней мѣрѣ, что по землѣ ходили лица, усть своихъ не осквернявшія ни лестью и ни ложью... Неужто я живу только пока я ѣмъ, ношу сюртукъ и сплю? Жизнь вѣчная вѣчна, какъ эта вся природа, какъ мысль, живущая въ смѣняющихся другъ друга поколѣнїяхъ. Читала Дора Спинозу и умерла, не дочитавъ половины. Шутила, говорила, что выучится думать хорошенько, вотъ и выучилась. Вотъ печатный Спиноза цѣль и на столѣ развернутый лежалъ все время съ ея смерти, а ея нѣтъ... Я вотъ теперь три листка просмотрѣлъ подалѣе, подалѣе того, гдѣ остановилась Дора, и что жъ она теперь: на три страницы далѣе или ближе отъ Спинозы? Иль, можетъ-быть, она оттуда видить и читаетъ? Иль, можетъ-быть, не сны одни мнѣ снятся, а въ самомъ дѣлѣ, для нея не нужны двери и, измѣняемая, она владѣетъ средствомъ съ струею воздуха влетать сюда, здѣсь быть со мной и снова носиться и даже черныя фигурки буквъ способна различать... Нелѣпый бредъ! Луна меня тревожитъ: лучи ея какъ будто падаютъ мнѣ прямо въ мозгъ и въ сердце. Что умерло, то спитъ и не придетъ перевернуть рукой забытую страницу.

Долинскій хотѣлъ отойти отъ окна и вдругъ страшно вздрогнулъ и по тѣлу его побѣжали мурашки. Въ комнатѣ покойной Доры тихо и отчетливо перевернулась страница.

— Дѣтскій страхъ!.. мечта, слышалось мнѣ, иль просто вѣтеръ дунулъ, — говорилъ себѣ Долинскій, стараясь взять надъ собою силу, а паническій, суевѣрный страхъ самъ предупреждалъ его, а онъ бралъ его за плечи, двигалъ на головѣ его волосы и чрезъ мгновеніе донесъ до его слуха столь же спокойный и столь же отчетливый звукъ отъ оброта второй страницы.

— Вторая, — шепнулъ дрожащими отъ ужаса губами Долинскій: — ихъ три: такъ третья, что ли, будетъ тоже?

Третья страница зашелестила, не снѣша перевалилась и, шурша, легла на открытую половину.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступалъ къ образцовой фермѣ, — прошло вдругъ въ головѣ Долинскаго.

— Что за нелѣпость, что за вздоръ такой, какой полкъ маршировалъ? — шептала онъ, стараясь удерживать себя и поворачивая свое лицо отъ окна въ комнату.

— Тамъ нѣтъ никого, — сказалъ онъ, и только что хо-

тѣлъ сдѣлать одинъ рѣшительный шагъ, какъ скрѣпившій передъ зарею вѣтерокъ разомъ надулъ тяжелыя дверныя занавѣси изъ Дашинной комнаты, полы драпировки далеко выдвинулись и запарусили.

— Кто тамъ, кто ходитъ здѣсь? — отчаянно крикнулъ нервнымъ, испуганнымъ голосомъ Долинскій.

— Уйдите отъ меня! — добавилъ онъ черезъ секунду, не своя остраго, встревоженнаго взгляда съ длинныхъ полъ, которыя все колыхались, таинственно двигались, какъ будто кто-то въ нихъ путался и, разомъ распахнувшись, защелкали своими взвившимися углами, какъ щелкаютъ дѣтскія, бумажныя хлопунки, а по стекламъ противоположнаго окна мелькнуло нѣсколько блѣдныхъ, тонкихъ линий, брошенныхъ заходящей луною, и вдругъ все стемнѣло; передъ Долинскимъ выросла огромная мрачная стѣна, подъ стѣной могильные кресты, заросшіе глухой крапивой, по стѣнѣ медленно идетъ въ бѣломъ саванѣ Дора.

— Ахъ, уйди ты! уйди! — подумалъ больной, и стѣна, и Дора тотчасъ же исчезли отъ его думы, но зато въ темной аркѣ бѣлаго камня загорѣлся пріятный голубоватый огонь и передъ этимъ огнемъ на полу, граціозно закинувъ подъ голову руки, лежала какая-то совершенно незнакомая красивая женщина.

— Этого ничего нѣтъ, — понималъ Долинскій. Онъ отвернулся къ окну и оторопѣлъ еще болѣе: тамъ, высоко-высоко на небѣ, стояла его собственная темная тѣнь колоссальнѣйшихъ размѣровъ, а тутъ сбоку, возлѣ самой его щеки, смотрѣло на него чье-то блѣдное, смѣющееся лицо.

Разстроенное воображеніе Долинскаго долѣе не выдержало. Ему представились какія-то блѣдныя, прозрачныя тѣни — тѣни, толпящіяся въ движущихся занавѣсахъ, тѣни подъ шторою окна; вся комната полна тѣнями: тѣни у него на плечахъ и въ немъ самомъ: все тѣни, тѣни... Онъ отчаянно пожался къ окну и сильно подавленное стекло разлетѣлось вдребзги.

— А тридцать-первый реформатскій полкъ правильно ретировался и отступать къ образцовой фермѣ, — стояло у него въ головѣ, и затѣмъ онъ ничего не помнилъ.

Прохладный, утренній воздухъ, врываясь въ разбитое окно и форточку, мало-по-малу освѣжилъ больную голову Долинскаго. Онъ приподнялъ лицо и медленно оглянулся.

На дворѣ сѣрѣло, между крышь на востокъ неба прорѣзалась блѣдно-розовая полоска и на узенькой дощечкѣ, подъ низенькимъ фронтономъ плоской крыши, гулко ворковалъ проснувшійся голубь. Сильная нервная возбужденность Долинскаго смѣнилась необычайной слабостью, выражавшеюся во всей его распускавшейся фигурѣ и совершенно угасающемъ взорѣ.

— Жизнь!.. иная жизнь! жизнь вѣчная! — шепталъ онъ, какъ бы что-то ловя и преслѣдуя глазами, какъ бы стараясь что-то прозрѣть въ тонкомъ сѣро-розовомъ свѣтѣ подъ бѣлымъ потолкомъ пустой комнаты.

Только протяжно и съ безконечнымъ покоемъ пронесся по свѣтлому, утреннему небу одинъ тихій звонъ маленькаго колокола съ круглой башни ближайшей церкви. Долинскій вздрогнулъ.

— Зоветь!—прошепталъ онъ, складывая на груди своей руки.

Колоколь черезъ минуту опять прозвучалъ еще тише и еще призывнѣй.

— Зоветь! зоветь!—повторилъ больной, и блѣдное лицо его сразу приняло строгое, серьезное выраженіе, какое бываетъ у нѣкоторыхъ мертвецовъ.

— Создатель! пощади мой разумъ!—произнесъ онъ тверже черезъ минуту и, какъ немощный больной, держась стѣны, побрѣлъ къ своей постели.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

### Иной путь.

Бѣжали дни за днями. Изъ нихъ составлялись недѣли и мѣсяцы—Долинскій викауда не показывался. Къ нему нѣсколько разъ заходилъ Кирилль Онучинъ; раза три заходила даже Вѣра Сергѣевна, но madame Бюжаръ, тщательно оберегая своего страннаго постояльца, никого къ нему не допускала. Вѣра Сергѣевна въ первый мѣсяцъ исчезновенія Долинскаго послала ему нѣсколько записокъ, которыми приглашала его придти, потому что ей «скучно»; въ другой она даже говорила ему, что «хочетъ его видѣть» и, наконецъ, она писала: «Я очень разстроена. У меня горе, въ которомъ мнѣ не къ кому прибѣгнуть, не съ кѣмъ посоветоваться, кромѣ васъ! Васъ это можетъ удивить, если вы думаете, что я только свѣтская кукла и ничего болѣе. Если

вы такъ думаете, то вы очень ошибаетесь. Но во всякомъ случаѣ, что бы вы ни думали обо мнѣ, я вамъ говорю, что у меня горе, большое горе. Чѣмъ я ничтожнѣе, тѣмъ оно для меня тяжелѣе. Мнѣ приходится бороться съ тяжелыми для меня требованіями и мнѣ не съ кѣмъ обдумать моего положенія, не съ кѣмъ сказать слова. Вы—человѣкъ съ сердцемъ и человѣкъ любившій; умоляю васъ, помогите мнѣ хоть однимъ теплымъ словомъ! Если вы не хотите быть у насъ, если не хотите у насъ съ кѣмъ-нибудь встрѣтиться, то завтра попозже въ сумерки, какъ стемнѣетъ, будьте на томъ мѣстѣ, гдѣ мы съ вами гуляли вдвоемъ утромъ, и ждите меня—я найду случай уйти изъ дома.

«Надѣюсь, что у васъ неостанетъ холодности отказать мнѣ въ такой небольшой, но важной для меня услугѣ, хоть, наконецъ, изъ снисхожденія къ моему полу. Помните, что я буду ждать васъ и что мнѣ страшно будетъ возвращаться одной ночью. Письмо сожгите».

Трудно поручиться, достало ли бы у Долинскаго холодности не исполнить просьбу Вѣры Сергѣевны, если бы онъ прочелъ это посланіе; но онъ не читалъ ни одного изъ ея писемъ. Какъ только м-ше Бюжаръ подавала ему конвертъ, надписанный рукою Вѣры Сергѣевны, онъ судорожно сминалъ его въ своей рукѣ, уходилъ въ уголь, тщательно сжигалъ нераспечатанный конвертъ, растиралъ испепелившуюся бумагу и пускалъ пыль за свою оконную форточку. Онъ боялся всего, что можетъ хоть на одно мгновеніе отрывать его отъ думъ, сѣтованій и таинственнаго міра, создаваемого его мистической фантазіей. Наконецъ, всѣ его оставили. Онъ былъ очень этому радъ. Окончивъ работу, онъ съ восторженностью началъ изучать пророковъ и жилъ совершеннымъ затворникомъ. А тѣмъ временемъ настала осень, получилось разрѣшеніе перевезти гробъ Даши въ Россію и пришли деньги за напечатанную повѣсть Долинскаго, которая въ свое время многихъ поражала своею оригинальностью и носила сильный отпечатокъ душевнаго настроенія автора.

Долинскому приходилось выйти изъ своего заточенія и дѣйствовать.

На другой же день, по полученіи послѣдней возможности отправить тѣло Даши, онъ впервые вышелъ очень рано изъ дома. Выхлопотавъ позволеніе вынуть гробъ и перевезя его



на желѣзную дорогу, Долинскій просидѣлъ самъ цѣлую ночь на пустомъ, отдаленномъ концѣ длинной платформы, гдѣ поставили черный сундукъ, зловѣщая фигура котораго будила въ проходившихъ тяжелое чувство смерти и заставляла ихъ бѣжать отъ этого страннаго багажа.

Долинскій не замѣчалъ ничего этого. Онъ сидѣлъ у сундука, облокотясь на него рукою, и, казалось, очень спокойно отдыхалъ отъ дневныхъ хлопотъ и бѣготни по поводу перевозки. На дворѣ совсѣмъ меркло; мимо платформы торопливо проходили къ домамъ разные рабочіе люди; прошло нѣсколько дѣвунекъ, которыя съ ужасомъ и съ любопытствомъ взглядывали на мрачный сундукъ и на одинокую фигуру Долинскаго, и вдругъ сначала шли удвоеннымъ шагомъ, а потомъ бѣжали, кутая свои головы широкими коричневыми платками и путаясь въ длинныхъ юбкахъ платьевъ. Еще позже забѣжало нѣсколько рѣзвившихся послѣ ужина мальчиговъ, и эти глянули и, забывъ свои крики, какъ бы по сигналу, молча ударились во всю мочь въ сторону. Ночь спустилась; заря совсѣмъ погасла и кругомъ все окутала темная мгла; на темно-синемъ небѣ не было ни звѣздочки, въ тихомъ воздухѣ ни звука.

Откуда-то прошла большая лохматая собака съ недоглоданною костью и, улегшись, взяла ее между передними лапами. Слышно было, какъ зубы стукнули о кость и какъ треснулъ оторванный лоскутъ мяса, но вдругъ собака потянула чутъемъ, глянула на черный сундукъ, быстро вскочила, взвизгнула, зарычала тихонько и со всѣхъ ногъ бросилась въ темное поле, оставивъ свою недоглоданную кость на платформѣ.

Когда рано утромъ тронулся поѣздъ, взявшій съ собою гѣло Доры, Долинскій спокойно поклонился ему вслѣдъ до самой до земли и еще спокойнѣе побрелъ домой.

Распорядясь такимъ образомъ, Долинскій часу въ одиннадцатомъ отправился къ Онучинымъ. Неожиданное появленіе его всѣхъ очень удивило, Долинскій также могъ бы здѣсь кое-чему удивиться.

Кирилла Сергѣевича онъ засталъ за газетами на террасѣ.

— Батюшки мои! Вы ли это, Несторъ Игнатьичъ?— вскричалъ добродушный ботаникъ, подавая ему обѣ свои руки.— Вѣра!

— Ну,—послышалось лѣниво изъ залы.

— Несторъ Пгнатычъ воскресъ и является.

Изъ залы не было никакого отвѣта и никто не показывался.

— Я принесъ вамъ мой долгъ, Кирилль Сергѣичъ. Сколько я вамъ долженъ?—началь Долинскій.

— Позвольте, пожалуйста! Что это, въ самомъ дѣлѣ, такое? годъ пропадаетъ и чуть перенесъ ногу, сейчасъ ужъ о долгѣ.

— Тороплюсь, Кирилль Сергѣичъ.

— Куда это?

— Я сегодня ѣду.

— Какъ ѣдете!

— То-есть уѣзжаю. Совсѣмъ уѣзжаю, Кирилль Сергѣичъ.

— Батюшки свѣты! Да надѣюсь, хоть пообѣдаете же вѣдь вы съ нами?

— Нѣтъ, не могу... у меня еще дѣла.

Ботаникъ посмотрѣлъ на него удивленными глазами, дескать: «а должно-быть ты, братъ, скверно кончишь», и вынулъ изъ кармана своего пиджака записную книжечку.

— За вами всего тысяча франковъ,—сказалъ онъ, перечеркивая карандашомъ страницу.

Долинскій досталъ изъ бумажника вексель на банкирскій домъ и нѣсколько наполеондоровъ и подаль ихъ Онучину.

— Большое спасибо вамъ,—сказалъ онъ, сжавъ при этомъ его руку.

— Постоите же; вѣдь все же, думаю, захотите, по крайней мѣрѣ, проститься съ сестрою и съ матушкой?

— Да, какъ же, какъ же, непременно.—отвѣчалъ Долинскій.

Онучинъ пошелъ съ террасы въ залу, Долинскій за нимъ.

Въ залѣ, въ которую они вошли, стоялъ у окна какой-то пожилой господинъ съ волосами, крашеными въ свѣтлорусую краску, и нѣмецкимъ лицомъ, и съ нимъ Вѣра Сергѣевна. Пожилой господинъ сіялъ самою благопріятною улыбкою и, стоя передъ m-lle Онучиной лицомъ къ окну, рассказывалъ ей что-то такое, что, судя по утомленному лицу и разсѣянному взгляду Вѣры Сергѣевны, не только нimalo ее не интересовало, но, напротивъ, нудило ее и раздражало. Она стояла прислонясь къ косяку окна, и, сложивъ руки на груди, безучастно смотрѣла по комнатѣ. Подъ глазами Вѣры Сергѣевны были два большія синева-

тыя пятна, и ея живое, задорное личико нѣсколько затуманилось и поблѣднѣло.

Она взглянула на Долинскаго весьма холодно и едва кивнула ему головою въ отвѣтъ на его привѣтствіе.

— Баронъ фонъ-Якобовскій и г. Долинскій,—отрекомендоваль Кирилль Сергѣевичъ другъ другу пожилого господина и Долинскаго.

Баронъ фонъ-Якобовскій раскланялся очень въ мѣру и очень въ мѣру улыбнулся.

— Членъ русскаго посольства въ N.,—произнесъ вполголоса Онучинъ, проходя съ Долинскимъ черезъ гостиную въ кабинетъ матери.

Серафима Григорьевна сидѣла въ большомъ мягкомъ креслѣ, съ лорнетомъ въ рукѣ, читала новый нумеръ парижскаго L'Union Chrétienne.

— Ахъ, Несторъ Игнатычъ!—воскликнула она очень радушно.—Мы васъ совсѣмъ было ужъ и изъ живыхъ выключили. Садитесь поближе; ну, что? Ну, какъ вы нынче въ своемъ здоровьѣ?

Долинскій поблагодарилъ за вниманіе, присѣлъ около хозяйкинаго кресла и у нихъ пошелъ обыкновенный полужоформенный разговоръ.

— А у насъ есть маленькая новость,—сказала, наконецъ, тихонько улыбаясь, Серафима Григорьевна.—Съ вами, какъ съ нашимъ добрымъ другомъ, мы можемъ и подѣлиться, потому что вы ужъ вѣрно порадуетесь съ нами.

Долинскій никакъ не могъ понять, какимъ случаемъ онъ попалъ въ добрые друзья къ Онучинымъ; но, глядя на счастливое лицо старухи, предлагающей открыть ему радостную семейную вѣсть, довольно низко поклонился и сказалъ какое-то приличное обстоятельству слово.

— Да, вотъ, нашъ добрый Несторъ Игнатычъ, наша Вѣрушка дѣлаетъ очень хорошую партію,—пропзнесла Серафима Григорьевна.

— Выходитъ замужъ Вѣра Сергѣевна?

— Да, выходитъ. Это еще наша семейная тайна, но ужъ мы дали слово. Вы видѣли барона фонъ-Якобовскаго?

— Да, насъ сейчасъ познакомилъ Кирилль Сергѣичъ.

— Вотъ это ея женихъ! Какъ видите, онъ еще *très galant, et tout ça...* уменъ, принадлежитъ къ обществу и членъ посольства. Вѣра будетъ имѣть въ свѣтѣ очень хорошее положеніе.

— Да, конечно,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вы знаете, онъ лифляндскій баронъ.

— Гм!

— Да, у него тамъ имѣніе около Риги. Они вѣдь, эти лифляндцы, знаете, не такъ, какъ мы русскіе; мы все ѣдимъ другъ-друга да мараемъ, а они лѣсенкой.

— Да, это такъ.

— Лѣсенкой, лѣсенкой, знаете. Одинъ за другимъ цапъ-царалъ, цапъ-царалъ—и всѣ наверху.

Долинскій, въ качествѣ добраго друга, сколько умѣлъ, порадовался семейному счастью Онучиныхъ и сталъ прощаться со старушкой. Несмотря на всѣ просьбы Серафимы Григорьевны, онъ отказался отъ обѣда.

— Ну, Богъ съ вами, если не хотите съ нами проститься какъ слѣдуетъ.

— Ей-Богу, не могу, тороплюсь,—извинился Долинскій.

Старушка положила на столь номеръ L'Union Chrétienne и пошла проводить Долинскаго.

— Вы къ намъ зимою въ Петербургъ заходите, — говорила необыкновенно счастливая и веселая старуха, когда Долинскій пожалъ въ залѣ руку Вѣры Сергѣевны и пробурчалъ ей какое-то поздравленіе. — Мы вамъ всегда будемъ рады.

— Мы принимаемъ всѣхъ по четвергамъ, — сухо проговорила Вѣра Сергѣевна.

— Да и такъ запросто когда-нибудь, — звала Серафима Григорьевна.

Долинскій раскланялся, скользнулъ за двери и на улицѣ вдохнулъ свободно.

— Очень жалкій человѣкъ, — говорила барону фонъ-Яковскому умиленная ниспосланной ей благодатью Серафима Григорьевна вслѣдъ за ушедшимъ Долинскимъ. — Былъ у него какой-то романъ съ довольно простой дѣвушкой, онъ схоронилъ ее и вотъ никакъ не утѣшится.

— Онъ такъ и смотритъ влюбленнымъ въ луну, — отвѣчалъ, въ мѣру улыбаясь, баронъ фонъ-Яковскій.

Вѣра Сергѣевна не принимала въ этомъ разговорѣ никакого участія, лицо ея попрежнему оставалось холодно и гордо, и только въ глазахъ можно было подмѣтить слабый свѣтъ горечи и досады на все ее окружающее.

Вѣра Сергѣевна выходила замужъ не то, чтобы насильно, но и не своей охотой.

Долинскій, возвратясь домой, засталъ свои чемоданы совершенно уложенными и готовыми. Не снимая шляпы и пальто, онъ дружески расцѣловалъ m-me Бюжаръ и уѣхалъ на желѣзную дорогу за два часа до отправленія поѣзда.

— Вы въ Петербургъ? — спрашивала его, совсѣмъ прощаясь, madame Бюжаръ.

Долинскій какъ будто не слышалъ и вмѣсто отвѣта крикнулъ:

— Adieu, madame.

Въ ожиданіи поѣзда, онъ, въ тревожномъ раздумьѣ, бѣгалъ по пустой платформѣ амбаркадера, останавливался, брался за лобъ, и какъ только открылась касса для перваго очереднаго поѣзда, взялъ мѣсто въ Парижѣ.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

### Батиньельскія голубятни.

Несторъ Игнатьевичъ въ Парижѣ поселился въ крошечной комнаткѣ пятаго этажа одного большого дома въ Батиньель. Занятое имъ помѣщеніе было далеко не изъ роскошныхъ и не изъ комфортабельныхъ. Вся комнатка Долинскаго имѣла около четырехъ аршинъ въ квадратъ, съ однимъ небольшимъ, высокопродѣланнымъ окномъ и неуключимъ дымящимъ каминомъ, на которомъ, вмѣсто неизбѣжныхъ часовъ съ бронзовымъ пастушкомъ, пренеловко разстегивающимъ корсетъ своей бронзовой пастушки, одиноко торчалъ молящійся гипсовый амуръ, весь немилосердно заспженный мухами. Меблировка этой комнаты состояла изъ небольшого круглаго столика, кровати съ дешевыми ситцевыми занавѣсами, какого-то историческаго комода, на которомъ было выпаралано: Beuharnais, Oginsky, Podwusocku, Jan, palit wody w zban, и многое множество другихъ историческихъ и неисторическихъ именъ, болѣе или менѣе удачно и тщательно произведенныхъ гвоздемъ и рукою скучавшаго и, вѣроятно, нищенствовавшаго жильца. Кромѣ этихъ вещей, въ комнатѣ находилось три кресла: одно — временъ Людовика XIV (это было самое удобное), одно — временъ первой республики и третье — временъ нынѣшней имперіи. Последнее было кресло дешевое, простой базарной работы и могло стоять только будучи при-

ставленнымъ въ уголь, ибо всѣ его ножки давнымъ-давно шатались и расползались въ разныя стороны. Зато все это обходилось неимоვნю дешево. Цѣлая такая комната, съ креслами трехъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ французской государственной жизни, съ водою и прислугой (которой, впрочемъ, *de facto* не существовало), отдавалась за пятнадцать франковъ въ мѣсяць. Такихъ каморокъ, по сторонамъ довольно широкаго и довольно длиннаго коридора, едва освѣщавшагося по концамъ двумя полукруглыми окнами, было около тридцати. Каждая изъ нихъ была отдѣлена одна отъ другой дощатою, или пластинною, толсто оштукатуренными перегородками, черезъ которую, однако, можно было свободно постучать и даже покричать своему сосѣду. Обитателями этихъ покоевъ были люди самые разнокалиберные; но все-таки можно сказать, что преимущественно здѣсь обитали швеи, цвѣточницы, вообще молодыя, легко смотрящія на тяжелую жизнь, дѣвушки и молодые, а иногда и не совсѣмъ молодые, даже иногда и совсѣмъ старые люди, самыхъ разнообразныхъ профессій. На каждой изъ сѣрыхъ дверей этихъ маленькихъ конурокъ грязноватою желтою краскою написаны подъ-рядъ свои нумера, а на нѣкоторыхъ есть и другія надписи, сдѣланныя просто кускомъ мѣла. Послѣднія надписи бываютъ *постоянныя*, красующіяся иногда цѣлые мѣсяцы, и *временныя*, появляющіяся и исчезающія въ одинъ и тотъ же день, въ который появляются. Очень рѣдко случается, что подобная надпись переживаетъ сутки и никогда двухъ. Къ числу первыхъ принадлежатъ мѣловыя начертанія, гласящія: «Cécile», «Pélagie», «Mathilde», la couturière, «Psyché», «Nymphe des bois», «Pol et Pepol», «Anaxagou—étudiant», «Le petit Mathusalem» или: «Frappez fort s'il vous plait!» и т. п.

Временныя же, преимущественно однодневныя надписи, болѣе все въ слѣдующемъ родѣ: «Je n'ai point d'habit», «Cela est probable», «J'en suis furieux!!!» (взязу неимоვნый вензель), «Pouvez-vous me dire, où il demeure?» (опять вензель, или четная буква), «Je crains, que la machine ne sorte des rails», «Nous serons revenus de bonne heure», и т. п. Иногда на дверяхъ отсутствующей хозяйки являются надписи и болѣе прямого значенія, напримѣръ, подъ именемъ какой-нибудь швеи Клемансъ и цвѣточницы

Арно, вдругъ въ одинъ прекрасный день является вопросомъ: «*Pouvez-vous nous loger pour cette nuit?*» подписано «*F. et R.*» или: «*Je n'ai presque rien mangé depuis deux jours.— Que faire?*»

На дверяхъ комнаты, занятой Долинскимъ, стояло просто «№ 11», и ничего болѣе. Съ правой стороны на дверяхъ подъ № 12 было написано еще «*Marie et Augustine—gardières*», а съ лѣвой подъ № 10—«*Népomucène Zaionczek—le prêtre*».

Въ жилищахъ этого рода, сосѣди по комнатѣ имѣютъ для каждаго жильца свое и даже весьма немаловажное значеніе. Вообще веселый, непретендательный, ссудливый сосѣдъ, не успѣетъ водвориться, какъ спискиваетъ себѣ доброе расположеніе своихъ ближайшихъ сосѣдей и особенно сосѣдокъ, изъ которыхъ одна, а иногда и двѣ непременно рассчитываютъ въ самомъ непродолжительномъ времени (иногда даже съ перваго же дня) сдѣлаться его любовницей. Зато плохой, вздорливый и придричивый сосѣдъ — чистое несчастье. Сами гризеты чаще всего начинаютъ бояться такихъ господъ, избѣгаютъ съ ними встрѣчи и даютъ имъ разныя ядовитыя клички; но выжить строптиваго жильца «изъ коридора» гризеты никакъ не сумѣютъ. Это удастся только тогда, если «весь коридоръ» обозлится (что бываетъ довольно рѣдко), или если строптивый человѣкъ надобѣсть ближайшимъ своимъ сосѣдямъ изъ студентовъ.

Перчаточницы *Augustine* и *Marie* были молодыя, веселыя, безпечныя дѣвочки, бѣгавшія за работой въ улицу *Loret* и распѣвавшія дома съ утра до ночи скабреныя пѣсенки непризнанныхъ поэтовъ Латинскаго квартала. Обѣ эти дѣвочки были очень хорошенькія и очень хорошія особы, съ которыми можно было прожить пѣлую жизнь въ отношеніяхъ самыхъ пріятельскихъ, если бы не было очевидной опасности, что пріязнь скоро перейдетъ въ чувство болѣе теплое и грѣшное. *Marie* и *Augustine* были тоже очень довольны своимъ «одиннадцатымъ номеромъ», но только съ одной стороны. Имъ очень нравилась его скромность, услужливость, готовность подѣлиться кофе, сыромъ, хлѣбомъ и т. п. Но чтò это былъ за сосѣдъ, съ которымъ ни пойти, ни похатъ, ни посидѣть вмѣстѣ, который не позоветъ ни къ себѣ, ни самъ не придетъ поболтать? «*Un ours*», прозвали его гризеты, и очень часто на него дулись. Но, не-

смотря на нелюдимость Долинскаго, и Augustine, и Marie, и даже всё другія жилицы коридора со второго же дня появленія его здѣсь положили, что онъ bon homme и что его надо приласкать—даже непременно надо.

Зато № 10, m-r le prêtre Néromuscène Zaionczek, давно стоялъ поперекъ горла рѣшительно всѣмъ своимъ ближайшимъ сосѣдямъ. Это былъ несносный, желчный старикъ съ сѣрыми, сухими глазами, острымъ, выдающимся впередъ подбородкомъ и загнутыми внизъ углами губъ. Гризеты называли его «полиціймейстеромъ» и отворачивались отъ него какъ только онъ показывался въ коридорѣ. M-r le prêtre Zaionczek обыкновенно сидѣлъ дома. Онъ выходилъ только два, много три раза въ недѣлю въ существующую на Батиньель польскую школу и разъ вечеромъ въ воскресенье ѣздилъ на омнибусѣ куда-то къ St.-Sulpice. Все остальное время онъ проводилъ въ своей комнаткѣ и постоянно или читалъ, или дѣлалъ какія-то выписки. Его посѣщали здѣсь довольно странные люди и нѣсколько пышныхъ грандіозныхъ дамъ, которыхъ онъ провожалъ, называя графинями и княгинями. Сосѣдями Zaionczeka было замѣчено, что всѣ его гости были исключительно поляки и польки. Личность и положеніе Заюнчека возбуждали вниманіе и любопытство всѣхъ голубей и голубокъ этой парижской голубятни, но никто не имѣлъ этого любопытства настолько, чтобы упорно стремиться къ уясненію, что, въ самомъ дѣлѣ, за птица этотъ m-r le prêtre Zaionczek и что такое онъ дѣлаетъ, зачѣмъ сидитъ на этомъ батиньельскомъ чердакѣ? Давно, еще вскорѣ за тѣмъ, какъ Заюнчекъ здѣсь поселился, кто-то болтнулъ вдругъ, что m-r le prêtre Zaionczek гадатель, что онъ отлично гадаетъ на картахъ и можетъ предсказать все, за сколько вамъ угодно лѣтъ впередъ. Нѣсколько человѣкъ повторили эту тонкую догадку и къ вечеру того же дня, двѣ или три гризеты, трясясь и замирая, собирались идти и попросить суроваго Заюнчека погадать имъ о завропавшихъ любовникахъ. Но вдругъ разнеслась вѣсть, что Monsieur le professeur Grélot, который живетъ здѣсь на голубятнѣ уже болѣе трехъ лѣтъ и котораго всѣ гризеты называютъ grand papa и считаютъ своимъ оракуломъ, выслушавъ явившееся насчетъ Заюнчека соображеніе, сомнительно покачалъ головою. Всѣ тотчасъ тоже сами покачали головами и съ тѣхъ поръ вовсе оставили добиваться, что



такое этот загадочный m-r le prêtre, а продолжали называть его попрежнему «полицеймейстером». Это название желчный старикъ получилъ потому, что его сварливый характеръ и привычка повелѣвать не давали ему покоя и на батиньельскомъ чердакѣ. Чуть только гдѣ-нибудь по соседству къ его номеру, послѣ десяти часовъ вечера слышался откуда-нибудь веселый разговоръ, смѣхъ, или хотя самый ничтожный шумъ, m-r le prêtre выходилъ въ коридоръ со свѣчою въ рукѣ, неуклонно текъ къ двери, изъ-за которой раздавались голоса, и, постучавъ своими костлявыми пальцами, грозно возглашалъ: «Ne faites point tap de bruit!» и затѣмъ держалъ столь же мѣрное теченіе къ своему номеру, съ полною увѣренностью, что обезпокоившій его шумъ непременно прекратится. И шумъ, точно, прекращался. Съ жильцами этой батиньельской вершины, m-r le prêtre не имѣлъ никакого сообщества, и съ тѣхъ поръ, какъ онъ тутъ поселился, отъ него никто не слышалъ болѣе, кромѣ: «Ne faites point de bruit». Въ комнатѣ Заюнчека тоже никто изъ здѣшнихъ жильцовъ никогда не былъ и комната эта была предметомъ постоянного любопытства, потому что madame Vache, единственная слуга и надзирательница этой вышки, рассказывала объ этой комнатѣ что-то столь заманчивое, что у всѣхъ почти одновременно родилось непобѣдимое желаніе взглянуть на чудеса этого неприступнаго покоя. Нѣкоторыми отчаянными смѣльчаками обоого пола (по преимуществу прекраснаго) съ тѣхъ поръ было предпринято нѣсколько очень обдуманыхъ экспедицій съ специальною цѣлю осмотрѣть полицеймейстерскую берлогу, но всѣ эти попытки обыкновенно оставались совершенно безуспѣшными. Въ присутствіи Заюнчека объ этомъ невозможно было и думать, потому что нѣсколькихъ дерзкихъ, являвшихся къ нему попросить займы свѣчи или спичекъ, онъ, не открывая двери, безъ всякой церемоніи посылалъ прямо къ какому-нибудь крупному чорту, или разомъ ко сто тысячамъ рядовыхъ дьяволовъ. А уходя изъ дому, Заюнчекъ постоянно уносилъ ключъ съ собою. Любопытные видали въ замочную скважину: дорогой варшавскій коверъ на полу этой комнаты; окно, задернутое зеленою тафтяною занавѣскою, большой черный крестъ съ бѣлымъ изображеніемъ распятаго Спасителя и низенькій налож краснаго дерева, съ зеленою бархатною подушкой

внизу и большою развернутою книгою на верхней наклонной доскѣ.

Въ существѣ комната Заіончека и не имѣла ничего необыкновеннаго. Конечно, сравнительно она была очень недурно меблирована, застлана мягкимъ ковромъ, увѣшана картинами, всегда чисто убрана и далеко превосходила прохладныя и пустоватыя каморки другихъ бѣдныхъ жильцовъ голубятни, но все-таки она далеко не могла оправдать восторженныхъ описаній *madame Vache*.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

### Батиньельскіе отшельники.

Долинскій, поселившись на Батиньель, рассчитывалъ здѣсь найти болѣе покоя, чѣмъ въ Латинскомъ кварталѣ, гдѣ онъ могъ бы жить при своихъ скудныхъ средствахъ, о восполненіи которыхъ нимало не намѣренъ былъ много заботиться.

Съ самага пріѣзда въ Парижъ онъ не повидался ни съ однимъ изъ своихъ прежнихъ знакомыхъ, а прямо занялъ одиннадцатый номеръ между Заіончекомъ и двумя хорошенькими перчаточницами, и засѣлъ въ этой комнатѣ почти безвыходно. Несторъ Пгнатъевичъ не писалъ изъ своего убѣжища никакихъ писемъ никому и самъ ни отъ кого не получалъ ни строчки. Выходилъ онъ иногда въ недѣлю разъ, иногда разъ въ мѣсяць и всегда возвращался съ какою-нибудь новою книгою. Каждый его выходъ всегда значилъ ни болѣе, ни менѣе, что новая книга прочитана и потребовалась другая. *M-r le prêtre Zaionczek*, встрѣтись два или три раза съ своимъ новымъ сосѣдомъ, посмотрѣлъ на него самымъ недружелюбнымъ образомъ. Казалось, Заіончекъ досадовалъ, что Долинскій такъ долго лишаетъ его удовольствія хоть разъ закричать у его дверей:

— *Ne faites pas de bruit.*

Изъ ближайшихъ сосѣдей Нестора Пгнатъевича короче другихъ его знали *m-lle Augustine* и *Marie*, но и *m-lle Augustine* скоро перестала обращать на него всякое вниманіе и занялась другимъ сосѣдомъ-студентомъ, помѣстившимся въ № 13, и только одинокая *Marie* никакъ не могла простить Долинскому его невниманія. Она часто стучалась къ нему вечерами, находя что-нибудь попросить или возвратить. Всегда она находила ласковый отвѣтъ, услужливость

и больше ничего. Мариэ выходила нѣсколько разъ, оглядываясь и поводя своими говорящими плечиками; Долинскій оставался спокойнымъ и протягивалъ руку къ оставленной книгѣ.

— Что это вы читаете, добрый сосѣдь? — спрашивала иногда Мариэ и, любопытствуя, смотрѣла на корешокъ книги. Тамъ всегда стояло что-нибудь въ такомъ родѣ: «*La religion primitive des Indo-Europeens par m-r Flotard*», или «*Bible populaire*», или что-нибудь такое же.

M-lle Мариэ терялась, что это за удивительный экземпляръ, этотъ ея смиренный сосѣдь.

— Ну, что твой бакалавръ? — освѣдомлялась иногда у нея, возвращаясь изъ тринадцатаго номера, m-lle Augustine.

— Rien, — отвѣчала, кусая губки, Мариэ.

— Tiens! — презрительно восклицала недоумѣвающая m-lle Augustine.

— Ничего онъ не стѣнтъ, — порѣшила, наконецъ, m-lle Мариэ и дала себѣ слово перестать думать о сосѣдѣ и найти кого-нибудь другого.

— Онъ вѣрно совсѣмъ глупъ, — говорила она, жалуясь подругѣ.

— C'est vrai, — небрежно отвѣчала Augustine, занятая своею новою любовью въ тринадцатомъ номерѣ.

Въ одну темную осеннюю ночь, когда въ коридорѣ была совершенная тишина, въ дверь у перчаточницъ кто-то тихонько постучался. Мариэ, ночевавшая одна на двуспальной постели, которою онъ владѣлъ изъ-полу съ своей подругой, приподнялась на локотокъ и тихонько спросила:

— Qui va là?

— C'est moi, — отвѣчали такъ же тихо голосъ изъ-за дверей.

— Mais quel moi donc?

— Mais puisque je vous repête que c'est moi, votre voisin du numéro onze.

— Tiens! — прошептала про себя Мариэ и, лукаво разсмѣявшись съ соблюденіемъ всякой тишины, отвѣчала:

— Mais je suis au lit, monsieur!.. Que désirez-vous?.. Qu'y a-t-il à votre service?

— Une allumette, mademoiselle, — тихо отвѣчалъ Долинскій. — Уронилъ мой ключъ и не могу его отыскать безъ огня.

— Un brin de feu?

— Oui, une allumette, s'il vous plait.

Marie еще сердечнѣе разсмѣялась, откинула брючокъ и, впустивъ сосѣда, снова кувыркнулась въ свою постельку.

— Спички тамъ на комодѣ,—произнесла она, лукаво выгладывая однимъ смѣющимся глазкомъ изъ-подъ одѣяла.

Долинскій поискала на каминѣ спичекъ, взялъ коробочекъ, поблагодарилъ сосѣдку и, не смотря на нее, пошелъ къ двери.

M-me Marie быстро вскочила.

— Это чортъ знаетъ что такое! — крикнула она всплывчиво вслѣдъ Долинскому.

— Что?—спросилъ онъ, остановившись.

— Нужно быть глупѣе доски, чтобы входить ночью въ комнату женщины съ желаніемъ получить одну зажигательную спичку.

Долинскій, ни слова не отвѣчая, тихо притворилъ двери.

M-me Marie сердито шелкнула крючкомъ, а Долинскій, несмотря на поздній часъ ночи, усѣлся у себя за столикомъ со вновь принесенною книгою. Это была одна изъ брошюръ о Юмѣ.

Прошло мѣсяца три; на батиньельскихъ вершинахъ все шло попрежнему. Единственная переменна заключалась въ томъ, что pigeon изъ тринадцатаго нумера прискучилъ любовью бѣдной Augustine и оставленная colombine, написавъ на дверяхъ измѣнника, что онъ «свинья, уродъ и мерзавецъ», стала спокойно встрѣчаться съ замѣнившюю ее новою подругою тринадцатаго нумера и спала у себя съ m-me Marie.

Одинъ разъ Долинскій возвращался домой часу въ пятомъ самаго ненастнаго зимняго дня. Холодный мелкій дождикъ, вперемежку съ ледянистой мглою и маленькими хлопочками мокраго снѣга, пробили его насквозь, пока онъ добрался на имперіалѣ омнибуса отъ rue de Saine, изъ Латинскаго квартала, до своихъ батиньельскихъ вершинъ.

Спустясь по осклизшимъ трехпогибельнымъ ступенямъ съ имперіала, Долинскій торопливо пробѣжалъ двѣ улицы и сталъ подниматься на свою лѣстницу. Онъ очень озябъ въ своемъ сильно поношенномъ пальтишкѣ и дрожалъ; подъ мышкой у него было нѣсколько книгъ и брошюръ, плохо завернутыхъ въ газетную бумагу.

На лѣстницѣ Долинскій обогналъ Заюнчека и, не обращая на него вниманія, бѣжалъ далѣе, чтобы скорѣе развести у себя огонь и согрѣться у каминна. Второпяхъ онъ не замѣтилъ, какъ у него изъ-подъ руки выскользнули и упали двѣ книжки. М-г le prêtre Zaionczek не спѣша поднялъ эти книги и не спѣша развернулъ ихъ. Обѣ книги были польскія: одна «Historja Kosciola Ruskiego, Ksiedza Fr. Gusty» (исторія русской церкви, сочиненная католическимъ священникомъ Густою), а другая—мистическія бредни Тавянскаго, извѣстнѣйшаго мистика, имѣвшаго столь печальное вліяніе на прекраснѣйшій умъ Мишкевича и дававшего совершенно иное направленіе послѣдней дѣятельности поэта.

М-г le prêtre Zaionczek взялъ обѣ эти книги и, держа ихъ въ рукѣ, постучалъ въ двери Долинскаго.

— Entrez,—отозвался Несторъ Игнатьевичъ.

Вошелъ m-г le prêtre Zaionczek.

— To księgi pana dobrodzieja?—спросилъ онъ Долинскаго по-польски.

— Мои; очень вамъ благодаренъ,—отвѣчалъ кое-какъ на томъ же языкѣ давно отвыкшій отъ него Долинскій.

— Вы занимаетесь религіозною литературой?

— Да... такъ... немного,—отвѣчалъ, нѣсколько конфузясь, Долинскій.

— Пусть вамъ поможетъ Богъ, — говорилъ, сжимая его руку, Заюнчекъ, и добавилъ: — жатвы много, а дѣтей мало есть.

Съ этихъ поръ началось знакомство Долинскаго съ Заюнчекомъ.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

### Новое масло въ плошку.

М-г le prêtre, по отношенію къ своему новому знакомству, явился совсѣмъ не такимъ, какимъ онъ былъ ко всѣмъ прочимъ жильцамъ вышки. Онъ самъ предложилъ Долинскому нѣсколько рѣдкихъ книгъ, и, столкнувшись съ нимъ однажды вечеромъ у своей двери, попросилъ его зайти къ себѣ. Долинскій не отказался, и только-что они вошли въ комнату Заюнчека, давашнюю всѣмъ чувствовать, что здѣсь живетъ католическая духовная особа, какъ въ двери постучался новый гость. Это была съ головы до ногъ закутан-

ная въ бархатъ и кружева молодая, высокая дама съ очень красивымъ лицомъ, несомѣнно польскаго происхожденія. Она только-что переступила порогъ, какъ сложила на груди свои античныя руки, преклонила колѣна и произнесла:

— *Niech bedzie pochwlony Jezus Christus.*

— *Na wieki wiekōw, Amen,*— ствѣтилъ Заіончекъ и подалъ дамѣ руку.

Та встала, поцѣловала руку Заіончека, подняла къ небу свои большіе голубые глаза, полные благоговѣйнаго страха, и сказала:

— Я на минуту къ вамъ, мой отецъ.

Долинскій хотѣлъ выйти. М-г *le prêtre* ласково его удержалъ за руку и еще ласковѣе сказалъ:

— Мои добрыя дѣти никогда не мѣшаютъ другъ другу.

Попавшій въ число добрыхъ дѣтей Заіончека Долинскій остался.

Пышная дама заговорила по-итальянски о какомъ-то семейномъ горѣ.

Долинскій старался не слушать этого разговора.

Онъ подошелъ къ этажеркѣ и разсматривалъ книги Заіончека. Прежде всего ему попалась въ руки «*Dictionnaire des missions catholiques, Lacroix et Dzunkowskoj*»; Долинскій взялъ другую книгу. Это была: «*Histoire diplomatique des conclaves depuis Martin V jusqu'à Pie IX, Petrugelli de la Gatina*». Далѣе онъ развернулъ большое in-folio «*Acta Sanctorum*». На столѣ лежалъ развернутый IV томъ этой книги: *Ioannes Rollandus, Godefridus Stenschenius, Societatis Iesu theologi*.

Пока Долинскій перелистывалъ эту книгу, приводя себѣ на память давно забытое значеніе многихъ латинскихъ словъ, дама стала прощаться съ Заіончекомъ.

— Тотъ, кто доводитъ тебя до этого, большее наказаніе пріиметъ и рука Провидѣнія давно тебя благословила, — говорилъ, напутствуя ее, м-г *le prêtre*, державшійся, какъ видно, съ Провидѣніемъ совсѣмъ за *panibrata*.

Дама опять поцѣловала руку Заіончека.

— Прощайте, дочь моя, — отвѣчала ласково суровый м-г *le prêtre* и пошелъ провожать свою восхитительно-прекрасную дочь.

Долинскій попалъ въ самый центръ польскихъ мистиковъ. Это общество жило въ Парижѣ очень разсѣянно, всѣ члены

его въ насмѣшку назывались «Tawianczykami» отъ имени того же извѣстнаго мистика Тавянскаго, котораго они считались послѣдователями. *Тавянчиковъ* считалось довольно много въ Парижѣ; они имѣли здѣсь свои собранія и своихъ представителей, въ числѣ которыхъ одно изъ первыхъ мѣстъ занималъ m-r le prêtre Zaionczek. Иезуиты смотрѣли на этихъ «тавянчиковъ» довольно снисходительно, и даже, кажется, дружелюбно. Нѣкоторые полагали, что парижскіе иезуиты одно время даже надѣялись найти въ Tawianczykachъ нѣкоторое противодѣйствіе противъ пугающаго святыхъ отцовъ матеріализма. Но Tawianczyki вообще не оправдали этихъ надеждъ «общества Иисусова», или, по крайней мѣрѣ, оправдали его въ самой незначительной мѣрѣ. «Tawianczyki» не распустили сильныхъ вѣтвей нигуда далѣе Париза, и даже не нашли сочувствія въ самой Польшѣ. Среди парижскихъ тавянчиковъ встрѣчались болѣею частію старички и женщины (молодые и старые), нерѣдко принадлежація къ самымъ лучшимъ польскимъ фамиліямъ. Между передовыми послѣдователями Тавянскаго встрѣчались люди довольно странные, въ мистическомъ тавянизмѣ которыхъ нерѣдко сквозило что-то иезуитское. Таковъ, между многими подобными, былъ извѣстный намъ m-r le prêtre Zaionczek, эмигрантъ, появившійся между парижскими тавянчиками откуда-то съ Волыни и въ самое короткое время получившій у нихъ весьма большое значеніе. Былъ ли m-r le prêtre Zaionczek дѣйствительно такимъ мистикомъ, какимъ онъ представлялся, или это съ его стороны было одно притворство, рѣшить было невозможно. Онъ съ глубокою задушевностью говорилъ о своихъ мистическихъ вѣрованіяхъ, состоялъ въ непосредственныхъ отношеніяхъ съ замогильнымъ міромъ, и въ то же время негласно основалъ въ Парижѣ «Союзъ христіанскаго братства». Члены это союза едва ли понимали что-нибудь о цѣли своего соединенія. Союзъ этотъ состоялъ изъ избранныхъ Заіончекомъ представителей всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Тутъ были: французы, англичане, испанцы, поляки, чехи (въ качествѣ представителей непризнаннаго гуссизма), итальянцы и даже русины-уніаты. Собранія союза обыкновенно происходили по вечерамъ въ воскресенье, близъ St.-Sulpice, въ домѣ самой рьяной тавянистки, княгини Голензовской, той самой дамы, которую мы видѣли у Заіончека. Члены союза со-

бпрались въ особой комнатѣ, обитой съ потолка до низу тонкимъ чернымъ сукномъ съ бѣлыми атласными карнизами по панелямъ. На стѣнѣ вверху, прямо противъ входа, была вышита гладью бѣлымъ шелкомъ большая мертвая голова съ крупною латинскою надписью: «Memento mori!» Посреди комнаты стоялъ длинный столъ, покрытый чернымъ сукномъ съ бѣлыми каймами и бѣлою же бахромою. По угламъ этой траурной скатерти опять были вышиты бѣлымъ мертвыя головы и вокругъ надъ всею каймою какія-то латинскія изреченія. Около этого стола стояли тяжелыя дубовыя скамейки и въ одномъ концѣ высокое рѣзное кресло съ твердымъ, ничѣмъ не покрытымъ сидѣньемъ, а возлѣ него въ ногахъ маленькая деревянная скамеечка. На рѣзномъ креслѣ было мѣсто Заюнчека, въ ногахъ у него на низенькой деревянной скамейкѣ садилась прекрасная хозяйка дома, а на скамьяхъ размѣщались члены.

Познакомясь съ Долинскимъ и открывъ въ немъ сильное мистическое настроеніе, m-g le prêtre Zaïonszek умѣлъ очень искусно расшевелить его большыя раны и овладѣть его слабымъ духомъ.

— Не желалъ бы я врагу челоѵчества такого внутренняго состоянія, каково должно быть твое, — сказалъ ему Заюнчекъ, незамѣтно выпытавъ у него грызущую его тайну.

— Молись, молись; будемъ вмѣстѣ молиться за тебя, — говорилъ онъ Долинскому.

— Ты крѣпко вѣришь въ загробную жизнь? — спрашивалъ онъ сотый разъ Долинскаго и, получая въ сотый разъ утвердительный отвѣтъ, говорилъ: — вѣрь, сынъ мой, и вѣрь, что между нами и тѣми, которые отошли отъ насъ, не порваны связи самаго тѣснаго общенія.

По цѣлымъ вечерамъ Заюнчекъ рассказывалъ разстроенному Долинскому самые картинные образцы таинственнаго общенія замогильнаго міра съ міромъ живущимъ и довелъ его больную душу до самаго высокаго мистическаго настроенія. Долинскій считалъ себя первымъ грѣшникомъ въ мірѣ и незамѣтно начиналъ ощущать себя въ такомъ близкомъ общеніи съ таинственными существами иного міра, въ какомъ высказывалъ себя самъ Заюнчекъ.

Достигнувъ такого вліянія на Долинскаго, Заюнчекъ сообщилъ ему о существованіи въ Парижѣ «Союза христіанскаго братства», и велѣлъ ему быть готовымъ вступить въ



братство въ качествѣ грѣшного члена *Wschodniego Kosciola* (восточной церкви). Долинскій былъ введенъ въ таинственную комнату засѣданій и представленъ оригинальному собранію, въ которомъ никто не называлъ другъ друга по фамиліи, а произносилъ только «братъ Яковъ», или «братъ Северинъ», или «сестра Урсула» и т. д.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

### Русскій *Tawianczyk*.

Долинскій, живучи въ сторонѣ отъ людей, съ одними терзаніями своей несговорчивой совѣсти, мистическими книгами, да еще болѣе мистическими тавянчиками, дошелъ самъ до непостижимаго мистицизма. Онъ уже не видалъ Доры и даже рѣдко вспоминалъ о ней, но зато совершенно привыкъ спокойно и съ вѣрою слушать, когда Заіончекъ говорилъ дома и у графини Голензовской отъ лица святыхъ и вообще людей давно отшедшихъ отъ міра. Въ засѣданіяхъ «христіанскаго союза», Заіончекъ говорилъ нѣсколько менѣе о своихъ общеніяхъ со святыми и съ мертвыми грѣшниками, но все-таки держался, по обыкновенію, таинственно.

Въ обществѣ, главнымъ образомъ, положено было избѣгать всякаго слова о превосходствѣ того или другого христіанскаго исповѣданія надъ прочими. «Всѣ дѣти одного отца, нашего Бога, и овцы одного великаго пастыря, положившаго животь свой за люди», было начертано огненными буквами на бѣлыхъ матовыхъ абажурахъ подсвѣчниковъ съ тремя свѣчами, какіе становились передъ каждымъ членомъ. Всѣ должны были помнить этотъ принципъ терпимости и никогда не касаться вопроса о догматическомъ разногласіи христіанскихъ исповѣданій.

По словамъ Заіончека, цѣлью общества было: *изысканіе средствъ къ освобожденію и соединенію христіанскихъ народовъ путемъ вѣры*. Задача эта многимъ представлялась весьма темною и даже вовсе непонятною, но, тѣмъ не менѣе, члены терпѣливо выслушивали, какъ Заіончекъ, стоя въ концѣ стола передъ составленною имъ картою «христіанскаго міра», излагалъ мистическія соображенія насчетъ «рокового развѣтвленія христіанства по свѣту, съ таинственными божескими цѣлями, для осуществленія которыхъ Господь сзываетъ своихъ избранныхъ». Женщины, слушая

Заіончека, поднимали очи къ небу и шептали молитвы, а мужчины, одни — набожно задумывались, другіе — внимательно слѣдили за ораторомъ и, очевидно, старались прозрѣть, что за смыслъ долженъ скрываться за этими хитросплетеніями. Пораженный тяжестью своей утраты, изнывая передъ неизслѣдимую пучиною своего нравственнаго грѣха, Долинскій былъ въ этомъ собраніи самымъ молчаливымъ членомъ *Wschodniego Kosciola*.

Онъ только самъ все наэлектризовывался мистицизмомъ и во всякомъ самомъ ничтожномъ событіи склоненъ былъ видѣть или особые пути Божіи, или нарочитые проски дьявольскіе.

Жилъ Долинскій до крайности умѣренно, получая не болѣе семидесяти-пяти франковъ въ мѣсяць, съ двухъ ничтожныхъ уроковъ, доставленныхъ ему Заіончекомъ. И за это занятіе Долинскій принялся только тогда, когда въ его карманѣ уже не было ни одного су изъ денегъ, съ которыми онъ пріѣхалъ въ Парижъ. Онъ жадно берегъ свое время и все его цѣликомъ отдалъ чтенію и своимъ мистическимъ размышленіямъ. Деньги и всякія другія блага міра сего не имѣли въ его глазахъ ровно никакой цѣны. Со всѣмъ живущимъ у него тоже не было ничего общаго. Міръ человѣческій для него былъ только міръ грѣха и преступленія, и собственное прошедшее представлялось ему однимъ сплошнымъ, безконечнымъ грѣхомъ. Долинскій утратилъ всякую способность къ какому бы то ни было анализу и бралъ все на вѣру, во всемъ видѣлъ законъ неотразимой таинственной необходимости и не взывалъ болѣе ни къ своему разуму, ни къ волѣ. Онъ даже не замѣчалъ противорѣчій, весьма ярко высказывавшихся въ поступкахъ Заіончека. Онъ ни разу не задумался надъ тѣмъ, что въ христіанскомъ обществѣ, основанномъ вѣротерпимѣйшимъ патеромъ, не было ни одного лютеранина. Онъ даже не придалъ никакого значенія тому, что *m-r le prêtre*, сидя разъ передъ каминомъ въ комнатѣ Долинскаго, случайно взялъ иллюстрированную книжку *Puauх: «Vie de Calvin»*, развернулъ ее, пересмотрѣлъ портреты и съ омерзѣніемъ бросилъ безцеремонно въ огонь.

Обстоятельствамъ угодно было, чтобы, задавленный своимъ и наноснымъ мистицизмомъ, Долинскій сравнялся съ княгинею Голенцовскою и прочими мистическими фанатич-

ками, вървавшими во всевѣдѣніе и сверхъестественное могущество Заіончека.

Прошла половина поста. Бѣшеный день французскаго demi-sağeme угасалъ среди пьяныхъ пѣсень; по улицамъ сновали пьяные студенты, пьяные блузники, пьяныя дѣвочки. Въ погребахъ, ресторанахъ и во всякихъ таиныхъ мѣстахъ были балы, на которыхъ гризеты вознаграждали себя за трехнедѣльное demi-смирненіе. Парижъ бѣсплся и пьяный вспоминалъ свою утраченную свободу.

Зато на извѣстной намъ голубятнѣ, въ Батиньелѣ, было необыкновенно тихо, всѣ пажоны и коломбины разлетѣлись. Кромѣ Заіончека и Долинскаго не было дома ни одного жильца: все пило, бродило и бѣсновалось. Вдругъ патеръ Заіончекъ вошелъ въ комнату Долинскаго.

По торжественной походкѣ и особенной праздничной солидности, лежавшей на каждомъ движеніи Заіончека, можно было легко замѣтить, что monsieur le prêtre находится въ нѣкоторомъ духовномъ восхищеніи. Это восторженное состояніе овладѣвало патеромъ довольно рѣдко, и то единственно лишь въ такихъ случаяхъ, когда ему удавалось приплетать какую-нибудь необыкновенно ловкую, по его мнѣнію, петельку къ раскинутымъ имъ силкамъ и тетямъ. Въ такія минуты, Заіончекъ, несмотря на всю свою желчность и сухость, одушевлялся, заносился какъ поэтъ, какъ пламенный импровизаторъ, безпрестанно впадалъ въ открытый разладъ съ логикой, и, какъ какой-нибудь дикій вождь племени несмѣтныхъ, пускалъ безъ всякаго такта въ борьбу множество нужныхъ и ненужныхъ силъ.

Впадая въ подобное расположеніе, патеръ всегда ощущалъ неотразимую потребность дать передъ кѣмъ-нибудь изъ вѣрующихъ генеральное сраженіе своимъ врагамъ, причемъ враги его—раціоналисты, допускались къ этимъ сраженіямъ только заочно и, разумѣется, всегда были немплотсердно побиваемы на-голову.

Неистовая ночь demi-sağeme не давала покоя патеру, хотя онъ и очень крѣпко, и очень рано заперся на своей вышкѣ. Кричащій, поющій, пляшущій и бѣснующійся Парижъ давалъ о себѣ знать и сюда. Парижъ не лакомился, а обжирался наслажденіями, какъ морская губка, онъ каждою своею точкою всасывалъ изъ опустившейся тьмы всю темную сладость грѣха и удовольствій. Заіончекъ чувство-

валъ это и не могъ себѣ представить переплета, въ который можно-бъ всунуть всѣ листы, съ записанными грѣхами этой ночи. Книга эта должна быть велика, какъ Парижъ, какъ міръ!.. Нѣтъ, больше міра, потому что міръ обновляется, а она должна быть вѣчна; ея гигантскія застѣжки не должны закрываться ни на одну короткую секунду, потому что и одной короткой секунды не прожить безъ грѣха тлѣнному міру.

— Какъ это такъ?.. Какъ это тамъ все? — задумалъ и, вставши, заходилъ по комнатѣ Заіончекъ.

Сердитый, онъ нѣсколько разъ вскидывалъ своими сухими глазами на темныя стекла длиннаго окна, въ пазы и щели котораго долетали съ улицъ раздражавшіе его звуки, и каждый разъ, въ каждомъ квадратѣ оконнаго переплета, ему мерещилсь цѣлыя группы рожь: намалеванныхъ, накрашенныхъ, богопротивнѣйшихъ, веселыхъ рожь въ дурацкихъ колпакахъ, зеленыхъ парикахъ и самыхъ прихотливыхъ мушкахъ.

— Да-съ, ну, такъ какъ же это тамъ все? — говорили онѣ Заіончеку, кривя губы, дергая носами и посылая ему вызывающія улыбки.

М-г le prêtre послалъ за это самъ миллионъ дьяволовъ во всемъ виноватымъ *раціоналистамъ*, задернулъ ридо и заходилъ по комнатѣ еще скорѣе и еще сердитѣе.

Прошло полчаса, и Заіончекъ вдругъ выпрямился, остановился и медленно вынулъ изъ кармана фуляровый платокъ, съ выбитымъ на немъ планомъ всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ Европѣ. Прошла еще минута, и Заіончекъ просіялъ вовсе; онъ тихо высморкался (что у него въ известныхъ случаяхъ замѣняло улыбку), повернулся на одной ногѣ и, съ солиднѣйшимъ выраженіемъ лица, отправился къ Долинскому.

— Миѣ очень, однакоже, нравятся вотъ эти господа, — началъ онъ, усаживаясь передъ каминомъ.

Долинскій посмотрѣлъ на него съ нѣкоторымъ недоумѣніемъ.

— Я говорю объ этихъ бѣлымистыхъ сычахъ, — продолжалъ Заіончекъ, подкинувъ въ каминъ лопатку глянцевого угля. — Миѣ, я говорю, очень они нравятся съ своими *знаніями*. Вотъ именно, вотъ эти самые господа, которые про все-то знаютъ, которымъ законы природы очень извѣстны.

Заіончекъ пару секундъ помолчать и, приподнимаясь съ значительной миною съ кресла, воскликнулъ:

— А я имъ говорю, что *они* сычи ночные, что они лу-поглазые, бѣлмыстые сычи, которымъ ихъ бѣлма ничего не даютъ видѣть при Божьемъ свѣтѣ! Ночь! ночь имъ нужна! Вотъ тогда, когда изъ темныхъ норъ на землю вынолзаютъ колючіе ежи, кроты слѣпые, землеройки, а въ сонномъ воз-духѣ нетопыри шмыгаютъ — тогда имъ жизнь, тогда имъ жизнь, канальямъ!.. И вотъ же чортъ ихъ не возьметъ и не поѣстъ вмѣсто сардинокъ!

Заіончекъ остановился въ ужасѣ надъ этимъ непрости-тельнымъ упущеніемъ чорта.

— Прекрасная, весьма прекрасная будетъ эта минута, когда... фффуу — одно дуновенье, и передъ каждымъ вся эта картина его мерзости напишется и напишется ярко, отчетливо, безъ чернилъ, безъ красокъ и безъ всякихъ фо-тографій.

Долинскій молчалъ.

— Что такое *одъ*?—произнесъ протяжно съ приставлен-нымъ ко лбу пальцемъ Заіончекъ. — *Одъ*: ну, *одъ! одъ!* ну, прекрасно-съ; ну, да что же такое, наконецъ, этотъ *одъ*? Вѣдь нужно же, наконецъ, знать, *что* онъ? *откуда* онъ? *зачѣмъ* онъ? Вѣдь нельзя же такъ сказать: «*одъ* есть невѣсомое тѣло», да и ничего больше. Съ нихъ, съ сычей, этихъ ночныхъ, пускай и будетъ этого довольно, но отчего же это такъ и для другихъ-то должно оставаться, я васъ спрашиваю?

Заіончекъ остановился съ высоко поднятыми плечами пер-едъ Долинскимъ. Черезъ минуту онъ сталъ медленно опу-скать плечи, вытянувъ впередъ руки, полузакрывъ вѣками свои сухіе глаза и, потянувшись грудью на руки, произ-несъ: *вотъ онъ!*

Долинскій попрежнему смотрѣлъ на патера, совершенно спокойно.

— Въ какомъ я положеніи есть, въ такомъ онъ тончай-шимъ, невѣсомымъ тѣломъ отъ меня и отдѣляется, — про-должалъ Заіончекъ. (Сказавъ это, патерь сдѣлалъ въ мол-чаніи два различныя движенія руками, какъ бы отражая отъ себя куда-то два различныя изображенія; потомъ ду-нулъ, напряженно посмотрѣлъ вслѣдъ за своимъ дуновеніемъ и заговорилъ двумя нотами ниже). *Одъ* отдѣлился и летитъ;

онъ — я, по тонкос... невѣсомое. Теперь воздухъ передаетъ это ээиру; ээиръ — далѣе. Все это летить, летить вѣка, тысячелѣтїя летить, и по извѣстнымъ тамъ законамъ отпечатывается, наконецъ, на какой-нибудь огромной, самой далекой планетѣ. Мїръ рушится; земля распадается золою; наши плотскїе глаза выгорѣли, мы видимъ далеко, и вотъ тебѣ передъ тобой *твоя картина*. Ты весь въ ней, съ тѣхъ поръ, какъ бабка перерѣзала тебѣ пуповину, до моего послѣдняго «аминь» надъ твоей могилой. Ты это?.. Нѣтъ, не отречешься; весь ты тамъ со своей исторїей. И эта ночь, и эта ночь сугубаго разврата, кровосмѣшенья и всякаго содомскаго грѣха! — вскрикнулъ громко патерь. — Она вся тамъ печатается, нынче,—докончилъ онъ однимъ шипящимъ придыханїемъ и, швырнувъ Долинскаго за рукавъ къ окну, грозно указалъ ему на темное небо, слегка подкрашенное мириадами рожковъ горящаго въ городѣ газа.

— Вотъ какъ пишется книга! Вотъ какъ отмѣчаются слѣды всѣхъ этихъ летучихъ мышей ночныхъ, всѣхъ этихъ кротиковъ, всѣхъ этихъ землероек!

Сказавши это съ особымъ эффектомъ, Заюнчекъ такъ же порывисто выбросилъ руку Долинскаго, какъ взялъ ее, и заходилъ по комнатѣ. Освобожденный Долинскїй тотчасъ же сѣлъ верхомъ на свой стулъ и, положивъ подбородокъ на спинку, молча смотрѣлъ на патера, безъ любопытства, безъ вниманїя и безъ участїя.

— Да, это такъ; это несомнѣнно такъ! — утверждали себя въ это время вслухъ патерь. — Да, солнце и солища. Пространства очень много... Душамъ роскошно плавать. Онѣ всѣ смотрятъ внизъ: лица всегда спокойныя; имъ все равно... Чтò здѣсь дѣлается, это имъ все равно: это ихъ не тревожить... имъ это мерзость, гниль. Я вижу... видны мнѣ оттуда всѣ эти умники, всѣ эти конкурбинны, всѣ эти черви, въ гною зеленомъ, въ смрадѣ, поднимающемъ рвоту! — Мерзко!

«Да, тому, кто въ годы постоянные вошелъ, тому женская прелесть даже и скверна», мелькнуло въ головѣ Долинскаго, и вдругъ причудилась ему Москва, ея Малый театръ, купецъ Толстогораздовъ, живая жизнь съ людьми живыми, и всѣ вы, всепрощающїе, всезабывающїе, незлобивые люди русскїе, и сама ты, наша плакучая береза, наша браная Русь-просторная. Всѣ вы, страннныя, жгучїя воспо-

минанія, все это разомъ толкнулось въ его сердце, и что-то новое, или, лучше сказать, что-то давно забытое, гдѣ-то тихо зазвенѣло ему манящими, путеводными колокольчиками.

Долинскій на мгновеніе смутился и черезъ другое такое же летучее мгновеніе невыразимо обрадовался, ощутивъ, что память его падаетъ, какъ надтреснувшая пружина, и спокойная тупость ложится по всеѣмъ краямъ воображенія.

«Но, впрочемъ, это все... непонятно», подумалъ олъ съвозъ сонъ, и съ наслажденіемъ почувствовалъ, что мозгъ его все крѣпче и крѣпче усваиваетъ себѣ самыя спокойныя привычки.

Долго еще патеръ сидѣлъ у Долинскаго и грѣлъ передъ его каминомъ свои толстыя, упругія ляжки; много еще рассказывалъ онъ объ одѣ, о плавающихъ душахъ, о сверхъестественныхъ явленіяхъ, и о томъ, что сверхъестественное не есть противоестественное, а есть только непонятное, и что пониманіе свое можно расширить и уяснить до безконечности, что душу и думы человѣка можно видѣть такъ же, какъ его носъ и подбородокъ. Долинскій слабо вслушивался въ весь этотъ сумбуръ и чувствовалъ, что онъ самъ уже давно не отъ міра сего, что онъ давно плыветъ въ пространствѣ, и съ краями срѣзь полонъ всяческаго равнодушія ко всему, что видить и слышать.

Но, наконецъ, усталъ и патеръ; онъ взглянулъ на свой толстый хронометръ, зѣвнулъ и, потянувшись передъ огнемъ, отправился къ своему ложу.

Какъ только Заіончекъ вышелъ за двери, Долинскій спокойно подвинулъ къ себѣ оставленную при входѣ патера книгу и началъ ее читать съ невозмутимымъ, холоднымъ вниманіемъ.

Часы въ коридорѣ пробили два.

Долинскій уже хотѣлъ лечь въ постель, какъ въ его дверь кто-то слегка стукнулъ.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

### Искушенія.

— Кто тамъ? — тихо спросилъ Долинскій, удивленный такимъ позднимъ посѣщеніемъ.

— Мы, ваши сосѣдки, — отвѣчала ему такъ же тихо молодой женскій голосъ.

— Что вамъ угодно, mesdames?

— Спичку, спичку; мы возвратились съ бала и у насъ огня нѣтъ.

Долинскій отворилъ дверь.

Передъ нимъ стояли обѣ его сосѣдки, въ широкихъ панталончикахъ изъ ярко-цвѣтной тафты, обшитыхъ съ боковъ дешевенькими кружевами; въ прозрачныхъ рубашечкахъ, съ непопозволительно-спущенными воротничками, и въ цвѣтныхъ шелковыхъ колпачкахъ, ухарски-замоленныхъ на туго-завитыхъ и напудренныхъ головкахъ. Въ рукахъ у одной была зажженная стеариновая свѣчка, а у другой—литръ краснаго вина и тонкая, въ аршинъ длинная, итальянская колбаса.

Не успѣлъ Долинскій выговорить ни одного слова, обѣ дѣвушки вскочили въ его комнату и весело захохотали.

— Мы пришли къ вамъ, любезный сосѣдь, сломать съ вами постъ.—Рады вы намъ?—прошебетала m-lle Augustine.

Она поставила на столъ высокую бутылку, сѣла верхомъ на стулъ республики и, положивъ локти на его спинку, откусила большой кусокъ колбасы, выплюнула кожу и начала усердно жевать мясо.

— Цѣломудренный Иосифъ! — воскликнула Marie, повалившись на постель Долинскаго и выкинувъ ногами невозвѣрный крендель: — хотите я вамъ представлю Жоко или бразильскую обезьяну?

Долинскій стоялъ неподвижно посреди своей комнатки. Онъ замѣтилъ, что обѣ дѣвушки пьяны, и не зналъ, что ему съ ними дѣлать.

Гризеты, смотря на него, помпировали со смѣху.

— Tiens!—вы, кажется, собираетесь насъ выбросить?—спрашивала одна.

— Нѣтъ, мой другъ, онъ читаетъ молитву отъ злого духа,—утверждала другая.

— Нѣтъ... Я ничего,—отвѣчалъ растерянный Долинскій, который, дѣйствительно, думалъ о проискахъ злого духа.

— Ну, такъ садитесь. Мы веселились, плясали, ѣздили, но все-таки вспомнили: что-то дѣлаетъ намъ бѣдный сосѣдь?

Marie вскочила съ постели, взяла Долинскаго однимъ пальчикомъ подъ бороду, посмотрѣла ему въ глаза и сказала:

— Онъ, право, еще очень и очень годится.

— Любезень, какъ бѣлый медвѣдь,—отвѣчала Augustine, глотая новый кусокъ колбасы.



— Мы принесли съ собой вина и ужинъ, однѣмъ очень скучно, мы пришли къ вамъ. Садитесь, — командовала Marie и, толкнувъ Долинскаго въ кресло королевства, сама вспрыгнула на его колѣни и обняла его за шею.

— Позвольте, — просилъ ее Долинскій, стараясь снять ея руку.

— Та-та-та, совсѣмъ не нужно, — отвѣчала дѣвушка, отпихивая локтемъ его руку, а другою рукою наливая стаканъ вина и поднося его къ губамъ Долинскаго.

— Я не пью.

— Не пьешь! Cochon! не пьеть въ *demi-carême*. Я на голову вылью.

Дѣвушка подняла стаканъ и слегка наклонила его на бокъ.

Долинскій выхватилъ его у нея изъ рукъ и выпилъ половину. Гризета проглотила остальное и, быстро повернувшись на колѣняхъ Долинскаго, сдѣлала сладострастное движеніе головой и бровью.

— Посмотрите, какое у нея плечико, — произнесла Augustine, толкнувъ сзади голое плечо Marie къ губамъ Долинскаго.

— Tiens! я думаю, это не такъ худо въ *demi-carême*! — говорила она, смѣясь и глядя, какъ Marie, весело закусивъ губки, держитъ у себя подъ плечикомъ голову растеряшагося мистика.

— Пусть будетъ тьма и любовь! — воскликнула Augustine, дунувъ на свѣчу и оставляя комнату при слабѣйшемъ освѣщеніи доплѣвнаго камня.

— Пусть будетъ свѣтъ и разумъ! — произнесъ другой голосъ, и на порогѣ показалась суровая фигура Заюнчека.

Онъ былъ въ бѣлыхъ ночныхъ панталонахъ, красной вязаной фуфайкѣ и синемъ спальномъ колпакѣ. Въ одной его рукѣ была зажженная свѣча, въ другой — толстый красный шнуръ, которымъ *m-r le prêtre* обыкновенно подисясывался по халату.

— Вонъ, къ ста-тысячамъ чертей отсюда, гнилыя дочери грѣха! — крикнулъ онъ на дѣвушекъ, для которыхъ всегда было страшно и ненавистно его появленіе.

Marie испугалась. Она соскользнула съ колѣнъ неподвижно сидѣвшаго Долинскаго, пируэтомъ перелетѣла его комнату и исчезла за дверью. Augustine направилась за нею. Пропуская мимо себя послѣднюю, *m-r le prêtre* съ

злостью очень сильно ударилъ ее шнуркомъ по тоненькимъ тафтянымъ панталончикамъ.

— Vous m'etourdissez! — подпрыгнувъ отъ боли, крикнула гризета и скрылась за подругою въ дверь своей комнаты.

— Ne faites plus de bruit! — проговорилъ у ихъ запертой двери черезъ минуту Заюнчекъ.

— Pas beaucoup, pas beaucoup! — отвѣчали гризеты.

Заюнчекъ зашелъ въ комнату одинокаго Долинскаго, стоявшаго надъ оставленными гризетами виномъ и колбасою.

— Я неспокоенъ былъ съ тѣхъ поръ, какъ легъ въ постель, и мой тревожный духъ въ-время послалъ меня туда, гдѣ я былъ нуженъ, — проговорилъ онъ.

— Благодарю васъ, — отвѣчалъ Долинскій: — я совсѣмъ не зналъ, что мнѣ съ ними дѣлать.

Богъ знаетъ, чѣмъ бы окончилъ здѣсь совершенно поглощенный мистицизмомъ Долинскій, если бы судьбою не угодно было подставить Долинскому новую штуку.

Одинъ разъ, возвратясь съ урока, онъ засталъ у себя на столѣ письмо, доставленное ему по городской почтѣ.

Долинскій наморщилъ лобъ. Рука, которою былъ надписанъ конвертъ, на первый взглядъ показалась ему незнакомою, и онъ долго не хотѣлъ читать этого письма. Но, наконецъ, сломалъ печать, досталъ листокъ и остолбенѣлъ. Записка была писана несомнѣнно Анною Михайловною.

«Я вчера вечеромъ пріѣхала въ Парижъ и пробуду здѣсь всего около недѣли, — писала Долинскому Анна Михайловна. — Поэтому, если вы хотите со мною видѣться, приходите въ Hôtel Corneille, противъ Одеона, № 16. Я дома до одиннадцати часовъ утра и съ семи часовъ вечера. Во все это время я очень рада буду васъ видѣть».

Долинскій отбросилъ отъ себя эту записку, потомъ схватилъ ее и перечиталъ снова. На дворѣ былъ седьмой часъ въ пеходѣ. Долинскій хотѣлъ пойти къ Заюнчику, но вмѣсто того только побѣгалъ по комнатамъ, схватилъ свою шляпу и опрометью бросился къ мѣсту, гдѣ останавливается омнибусъ, проходящій по Латинскому кварталу.

Долинскій бѣжалъ по улицѣ съ сильно бьющимся сердцемъ и спирающимся дыханіемъ.

— Жизнь! жизнь! — говорилъ онъ себѣ. — Какъ давно я не чувствовала тебя такъ сильно и такъ близко!

Какъ только омнибусъ тронулся съ мѣста, Долинскій вдругъ посмотрѣлъ на Парижъ, какъ мы смотримъ на мѣста, которыя должны скоро покинуть; почувствовать себя вдругъ отрѣзаннымъ отъ Заюнчека, отъ перечитанныхъ мистическихъ бредней и блѣдныхъ созданій своего большого духа. Жизнь, жизнь, ея обаятельное очарованіе снова поманило изстрадавшагося, разбитаго мистика и, завидѣвъ на темнѣющемъ вечернемъ небѣ сѣрый силуэтъ Одеона, Долинскій вздрогнулъ и схватился за сердце.

Черезъ двѣ минуты онъ стоялъ на лѣстницѣ отеля Корнеля и чувствовалъ, что у него гнутся и дрожатъ колѣни.

«Что я скажу ей? Какъ я взгляну на нее?—думалъ Долинскій, взявшись рукою за ручку звонка у 16 №. — Можетъ-быть, лучше, если бы теперь ея не было еще дома?» разсуждалъ онъ, чувствуя, что всѣ силы его оставляютъ, и робко потянулъ колокольчикъ.

— Entrez!—произнесъ изъ номера знакомый голосъ.

Несторъ Игнатьевичъ пріотворилъ дверь и спотыкнулся.

— Не будетъ добра,—сказалъ онъ себѣ съ досадою, тревожась незабытою съ дѣтства примѣтой.

## ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

### Заблудшая овца и ея пастушка.

Отворивъ дверь изъ коридора, Долинскій очутился въ крошечной, чистенькой передней, отдѣленной тяжелою драпировкою отъ довольно большой, хорошо меблированной и ярко освѣщенной комнаты. Прямо противъ приподнятыхъ половъ матеріи, раздѣлявшей номеръ, стоялъ ломберный столъ, покрытый чистою, бѣлою салфеткой; на немъ весело кипящій самоваръ и по бокамъ его двѣ стеариновые свѣчи въ высокихъ блестящихъ шандалахъ, а за столомъ, въ глубинѣ дивана, сидѣла сама Анна Михайловна. При входѣ Долинскаго, который очень долго копался, снимая свои калоши, она выдвинула изъ-за самовара свою голову и, заслонивъ ладонью глаза, внимательно смотрѣла въ переднюю.

На Аннѣ Михайловнѣ было черное шелковое платье, съ высокимъ лифомъ и безъ всякой отдѣлки, да бѣлый воротничокъ около шеи.

Долинскій, наконецъ, показался между полами драпировки, закрыть рукою свои глаза и остановился, какъ вкопанный.

Анна Михайловна теперь его узнала; она покраснѣла и смотрѣла на него молча.

— Я не смѣю глядѣть на тебя,—тихо произнесъ, не отнимая отъ глазъ руки, Долинскій.

Анна Михайловна не отвѣчала ни слова и продолжала съ любопытствомъ смотрѣть на его исхудавшую фигуру и ветхое коричневое пальто, на которомъ вытертые швы обозначались желто-бѣлыми полосами.

— Прости!—еще тише произнесъ Долинскій.

Съ этимъ словомъ онъ опустился на колѣни, поставилъ передъ собою свою шляпу, досталъ изъ кармана довольно грязноватый платокъ и обтеръ имъ выступившій на лбу потъ.

Анна Михайловна неслокойно поднялась съ своего мѣста и, молча, прошла два или три раза по комнатѣ.

— Встаньте, пожалуйста,—проговорила она Долинскому.

— Прости,—проговорилъ онъ еще тише и не трогаясь съ мѣста.

— Встаньте,—сказала опять Анна Михайловна.

Долинскій медленно приподнялся и, взявъ въ руки свою шляпу, снова сталъ, опустя голову, на томъ же самомъ мѣстѣ.

Анна Михайловна во все это время не могла оправиться отъ перваго волненія. Пройдя еще раза два по комнатѣ, она повернула къ окну и старалась незамѣтно утереть слезы.

— Не извиненія, а христіанской милости, прощенія...—началъ было снова Долинскій.

— Не надо! не надо! Пожалуйста, ни о чемъ этомъ говорить не надо!—нервно перебила его Анна Михайловна и, вынувъ изъ кармана платокъ, вытерла глаза и спокойно сѣла къ самовару.

— Что жъ вы стоите у двери?—спросила она, не смотря на Долинскаго.

Тотъ сдѣлалъ шагъ впередъ, поставилъ себѣ стулъ и сѣлъ молча.

— Какъ вы здѣсь живете? —спросила его черезъ минуту Анна Михайловна, стараясь говорить какъ можно спокойнѣе.

— Худо,—отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна молча подала ему чашку чаю.

— И давно вы здѣсь?—спросила она послѣ новой паузы.

— Скоро полтора года.

— Чѣмъ же вы занимаетесь?

Долинскій подумаль, чѣмъ онъ занимается, и отвѣчалъ:

— Даю уроки.

— Мы съ Ильей Макарычемъ о васъ долго справлялись; нѣсколько разъ писали вамъ въ Ниццу, письма приходили назадъ.

— Да меня тамъ, вѣрно, ужь не было.

— Илья Макарычъ кланяется вамъ,—сказала Анна Михайловна послѣ паузы.

— Спасибо ему,—отвѣчалъ Долинскій.

— Вашъ редакторъ нѣсколько разъ о васъ спрашивалъ Плью Макарыча.

— Богъ съ ними со всѣми.

Анна Михайловна посмотрѣла на испитое лицо Долинскаго и, остановивъ глаза на блѣдомъ швѣ его рукава, сказала:

— Какъ вы бережливы! Это у васъ еще петербургское пальто?

— Да, очень прочная матерія,—отвѣчалъ Долинскій.

Анна Михайловна посмотрѣла на него еще пристальнѣе и спросила:

— Не хотите ли вы стаканъ вина?

— Нѣтъ, благодарю васъ, я не пью вина.

— Можетъ-быть, рому къ чаю?

Долинскій взглянулъ на нее и отвѣтилъ:

— Вы, можетъ-быть, подозреваете, что я началъ пить?

— Нѣтъ, я такъ просто спросила, — сказала Анна Михайловна и покраснѣла.

Долинскій видѣлъ, что онъ отгадалъ ее мысль, и спокойно добавилъ:

— Я ничего не пью.

— Скажи же, пожалуйста, отчего ты такъ... похудѣлъ, постарѣлъ... опустился?

— Горе, тоска меня съѣли.

Анна Михайловна покатила въ пальцахъ хлѣбный шарикъ и, повертывая его въ двухъ пальцахъ передъ свѣчкою, сказала:

— Невозвратимаго ни воротить, ни поправить невозможно.

— Я не знаю, что съ собой дѣлать? Что мнѣ дѣлать, чтобы примирить себя съ собою?

Анна Михайловна пожала плечами и опять продолжала катать шарикъ.

— Я бѣгу отъ людей, бѣгу отъ мѣстъ, которыя напоминаютъ мнѣ мое прошлое; и самъ чувствую, что я не человекъ, а такъ, какая-то могила... трупъ. Во мнѣ уснула жизнь, я ничего не желаю, но мои несносныя мѣки, мои терзанія!..

— Что же васъ особенно мучить? — спросила, не сводя съ него глазъ, Анна Михайловна.

— Все... вы, она... мое собственное ничтожество, и...

— И что?

— И всего мнѣ жаль порой, всего жаль: скучно, холодно одному на свѣтѣ...—проговорилъ Долинскій съ болѣзненной гримасой въ лицѣ и досадою въ голосѣ.

— Не будемъ говорить объ этомъ. Прошлаго ужъ не веротишь. Рассказывайте лучше, какъ вы живете?

Долинскій коротко рассказалъ про свое однообразное житье, умолчалъ, однако, о Заюнчекѣ и обществѣ соединенныхъ христіанъ.

— Ну, а впередъ?

— Впередъ?

Долинскій развелъ руками и проговорилъ:

— Можетъ-быть, то же самое.

— Утѣшительно!

— Это все равно: хорошаго гдѣ взять?

Анна Михайловна промолчала.

— Чего-жъ вы не возвращаетесь въ Россію? — спросила она его черезъ нѣсколько минутъ.

— Зачѣмъ?

— Какъ, зачѣмъ? Вѣдь вы, я думаю, русскій.

— Да, можетъ-быть, я и возвращусь... когда-нибудь.

— Зачѣмъ же когда-нибудь! Побѣдте вмѣстѣ.

— Съ вами? А вы скоро ѣдете?

— Черезъ нѣсколько дней.

— Вы пріѣхали за покупками?

— Да, и за вами, — улыбувшись, отвѣчала Анна Михайловна.

Долинскій, потулясь, смотрѣлъ себѣ на ногти.

— Пора, пора вамъ вернуться.

— Дайте подумать, — отвѣчалъ онъ, чувствуя, что сердце его забилось не совсѣмъ обыкновеннымъ боемъ.

— Нечего и думать. Никакое прошлое не поправляется хандрою, да чудачествомъ. Отряхнитесь, оправьтесь, станьте на ноги: вѣдь на васъ жаль смотрѣть.

Долинскій вздохнулъ и сказалъ:

— Спасибо вамъ.

— Я завтра, можетъ-быть, пришелъ бы къ вамъ утромъ,— говорилъ онъ, прощаясь.

— Разумѣется, приходите.

— Часовъ въ восемь... можно?

— Да, конечно, можно,— отвѣчала Анна Михайловна.

Проводивъ Долинскаго до дверей, она вернулась и стала у окна. Черезъ минуту на улицѣ показался Долинскій. Онъ вышелъ на середину мостовой, сдѣлалъ шагъ и остановился въ раздумьѣ; потомъ перешагнулъ еще разъ и опять остановился и вынулъ изъ кармана платокъ. Вѣтеръ рванулъ у него изъ рукъ этотъ платокъ и покатилъ его по улицѣ. Долинскій какъ бы не замѣтилъ этого и тихо побрелъ далѣе. Анна Михайловна еще часа два ходила по своей комнатѣ и говорила себѣ:

— Бѣдный! бѣдный, какъ онъ страдаетъ!

## ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

### Рѣшительный шагъ.

Долинскій провелъ у Анны Михайловны два дня. Аккуратно онъ являлся съ первымъ omnibusомъ въ восемь часовъ утра и уѣзжалъ домой съ послѣднимъ въ половинѣ двѣнадцатаго. Долинскаго не оставляла его давнишняя задумчивость, но онъ сталъ замѣтно спокойнѣе и даже минутами оживлялся. Однако, оживленность эта была непродолжительною: она появлялась неожиданно, какъ бы въ минуты забвенія, и исчезала такъ же быстро, какъ-будто по мановенію какого-то призрака, проносившагося передъ тревожными глазами Долинскаго.

— Когда мы ѣдемъ? — спрашивалъ онъ въ волненіи на третій день пребыванія Анны Михайловны въ Парижѣ.

— Дня черезъ два, — отвѣчала ему спокойно Анна Михайловна.

— Скорѣй бы!

— Это не далеко, кажется?

Долинскій хрустнулъ пальцами.

— Вы не боитесь ли раздумать? — спросила его Анна Михайловна.

— Я!.. Нѣтъ, съ какой же стати раздумать?

— То-то.

— Мнѣ здѣсь нечего дѣлать.

«А что я буду дѣлать тамъ? Какое мое положеніе? Послѣ всего того, что было, чѣмъ должна быть для меня эта женщина! — размышлялъ онъ, глядя на ходящую по комнатѣ Анну Михайловну.— Чѣмъ она для меня можетъ быть?.. Нѣтъ, не чѣмъ *можетъ*, а чѣмъ она должна быть? А почему же именно должна?.. Опять все какая-то путаница!»

Долинскій тревожно всталъ и простился съ Анной Михайловной.

— До утра,—сказала она ему.

— До утра, — отвѣчалъ онъ, холодно и почтительно цѣлуя ея руку.

Войдя въ свою комнату, Долинскій, не зажигая огня, бросилъ шляпу и повалился впотьмахъ совсѣмъ одѣтый въ постель.

— Нѣтъ, — воскликнулъ онъ часа черезъ два, быстро вскочивъ съ постели. — Нѣтъ! нѣтъ! Я знаю тебя; я знаю, я знаю тебя, змѣиная мысль! — повторялъ онъ въ ужасѣ и, выскочивъ изъ своей комнаты, постучался въ двери Заіончека.

— Помогите мнѣ, спасите меня! — сказалъ онъ, бросаясь къ патеру.

— Чтобы дѣлать язвы, прежде надо ихъ видѣть, — проговорилъ Заіончекъ, торопливо вставая съ постели. — Открой мнѣ свою душу.

Долинскій разсказалъ о всемъ случившемся съ нимъ въ эти дни.

— Отецъ мой! Отецъ мой! — повторилъ онъ, заплакавъ и ломая руки: — я не хочу лгать... въ моей груди... теперь, когда лежалъ я одинъ на постели, когда я молился, когда я звалъ къ себѣ на помощь Бога... Ужасно!.. Мнѣ показалось... я почувствовалъ, что *жить хочу*, что мертвое все умерло совсѣмъ; что нѣтъ его нигдѣ, и эта женщина живая... для меня дороже неба; что я люблю ее гораздо больше, чѣмъ мою душу, чѣмъ даже...

— Глупецъ! — рѣзкимъ, змѣинымъ придыханіемъ шепнулъ Заіончекъ, зажимая ротъ Долинскому своей рукою.

— Нѣтъ силъ... страдать... терпѣть и ждать... чего? чего,



скажете? Мой умъ погибъ, и самъ я гибну... Неужто-жь это жизнь? Вѣдь дьяволъ такъ не мучится, какъ измучилъ себя я въ этомъ тѣлѣ!

— Дрянная персть земная непокорна.

— Нѣтъ, я покорень.

— А путь готовъ давно.

— И гдѣ же онъ?

— Онъ?.. Поидемъ, я покажу его: путь вѣрный примириться съ жизнью.

— Нѣтъ, убѣжать отъ ней...

— И убѣжать ея.

Долинскій только опустилъ голову.

Черезъ полчаса меркнушіе фонари Батиньеля короткими мгновеніями освѣщали двѣ торопливо шедшія фигуры: одна изъ нихъ, сильная и тяжелая, принадлежала Заіончеку; другая слабая и колеблющаяся—Долинскому.

## ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

### Кто въ чемъ остался.

Анна Михайловна напрасно ждала Долинскаго и утромъ, и къ обѣду, и къ вечеру. Его не было цѣлый день. На другое утро она написала ему записку и ждала къ вечеру отвѣта или, лучше сказать, она ждала самого Долинскаго. Ожиданія были напрасны. Прошелъ еще цѣлый день — не приходило ни отвѣта, не бывалъ и самъ Долинскій, а по условію, вечеромъ слѣдующаго дня, нужно было выѣзжать въ Россію.

Анна Михайловна находилась въ большомъ затрудненіи. Часу въ восьмомъ вечера она надѣла бурнусъ и шляпу, взяла фіакръ и велѣла ѣхать на Батиньель.

Съ большимъ трудомъ она отыскала квартиру Долинскаго и постучалась у его двери. Отвѣта не было. Анна Михайловна постучала второй разъ. Въ темный коридоръ отворилась дверь изъ № 10-го и на порогъ показался во всю свою нелѣпую вышину *m-r le prêtre Zaionczek*.

— Что вамъ здѣсь нужно?—сердито спросилъ онъ Анну Михайловну по-русски, произнося каждое слово съ особеннымъ твердымъ удареніемъ.

— Мнѣ нужно господина Долинскаго.

— Его нѣтъ здѣсь: онъ здѣсь не живетъ, — отвѣчалъ пaterъ.

— Гдѣ же онъ живетъ?

Патеръ сдѣлалъ шагъ назадъ въ свою комнату и, ткнувъ въ руки Аннѣ Михайловнѣ какую-то бумажку, сказалъ:

— Отправляйтесь-ка домой.

Дверь номера захлопнулась, и Анна Михайловна осталась одна въ грязномъ коридорѣ, слабо освѣщенномъ подслѣповатою плошкой. Она разорвала конвертъ и подошла къ огню. При трепетномъ мерцаніи плошки нельзя было прочесть ничего, что написано блѣдными чернилами.

Анна Михайловна нетерпѣливо сунула въ карманъ бумажку, сѣла въ фіакръ и велѣла ѣхать домой.

Въ своемъ номерѣ она зажгла свѣчу и, держа въ дрожащихъ рукахъ бумажку, прочла: «Я не могу ѣхать съ вами. Не ожидайте меня и не ищите. Я сегодня же оставляю Францію и буду далеко молиться о васъ и о мірѣ».

Анна Михайловна осталась на одномъ мѣстѣ, какъ остолбенѣлая. На другой день ея уже не было въ Парижѣ.

---

Прошло болѣе двухъ лѣтъ. Анна Михайловна попрежнему жила и хозяйничала въ Петербургѣ. О Долинскомъ не было ни слуха, ни духа.

За Анной Михайловной многіе пріударяли самымъ серьезнымъ образомъ и, наконецъ, одинъ статскій совѣтникъ предлагалъ ей свою руку и сердце. Анна Михайловна ко всемъ этимъ исканіямъ оставалась совершенно равнодушною. Она до сихъ поръ очень хороша и ведетъ жизнь совершенно уединенную. Ее можно видѣть только въ магазинѣ или во Владимірской церкви за раннею обѣдней.

Анна Анисимовна съ своими дѣтьми живетъ у Анны Михайловны въ бывшихъ комнатахъ Долинскаго. Отношенія ихъ съ Анной Михайловной самыя дружескія. Анна Анисимовна никогда ничего не говоритъ хозяйкѣ ни о Дорушкѣ, ни о Долинскомъ, но каждое воскресенье приноситъ съ собою отъ ранней обѣдни вынутую заупокойную просфору. Долинскаго она терпѣть не можетъ, и при каждомъ случайномъ воспоминаніи о немъ, лицо ея судорожно передвигается и принимаетъ выраженіе суровое, даже мстительное.

Mlle Alexandrine тоже попрежнему живетъ у Анны Михайловны, и нынче больше, чѣмъ когда-нибудь, считаетъ свою хозяйку совершенною дуροю.

Илья Макаровичъ нимало не измѣнился. Онъ по-старому льетъ пули и суетится. Глядя на Анну Михайловну, какъ она, при всемъ желаніи казаться счастливою и спокойною, часто живетъ ничего не видя и не слыша и по цѣлымъ часамъ сидитъ задумчиво, склонивъ голову на руку, онъ часто повторяетъ себѣ:

— За что, про что только все это развѣялось и пропало?

— Да полюбите вы кого-нибудь! — говоритъ онъ иногда, подмѣчая несносную тоску въ глазахъ Анны Михайловны.

— Погодите еще, сѣдого волоса жду, — отвѣчаетъ она, стараясь улыбаться.

Жена Долинскаго живетъ на Арбатѣ въ собственномъ двухъэтажномъ домѣ и держитъ въ рукахъ своего сѣдого благодѣтеля. Викторинушку выдали замужъ за вдоваго квартальнаго. Она прожила годъ съ мужемъ, овдовѣла и снова вышла за молодого врача больницы, учрежденной какимъ-то «человѣколюбивымъ обществомъ», которое Матроска безъ всякой задней мысли называетъ обыкновенно «самолюбивымъ обществомъ». Сама же Матроска состоитъ у старшей дочери въ ключницахъ; зять-лѣкаръ не пускаетъ ее къ себѣ на порогъ.

Вырвицъ и Шиандорчукъ, благодаря Бога, живы и здоровы. Они теперь служатъ гайдуками, или держимордами при какомъ-то приставѣ исполнительныхъ дѣлъ по вѣдомству нигилистической полиціи, и уже были два раза въ дѣлѣ, а за третьимъ, слышно, будутъ отправлены въ смиренительный домъ. Имена ихъ, вѣроятно, передадутся исторіи, такъ какъ они впервые запротестовали противъ уничтоженія въ Россіи тѣлеснаго наказанія и считаютъ его одною изъ необходимыхъ мѣръ нравственнаго исправленія. Положеніе этихъ людей вообще самое нерадостное; Дорушкино предсказаніе надъ ними сбывается: они рѣшительно не знаютъ, за что имъ зацѣпиться и на какой колоколь себя повѣсить. Взять тягло въ толокѣ житейской — руки ихъ лѣнны и слабы; міряне ихъ не замѣчаютъ; «мыслящіе реалисты», къ которымъ они жмутся и которыхъ увѣряютъ въ своей съ ними солидарности, тоже сторонятся отъ нихъ и чураются. Стоять эти бѣдные, «заплаканные» люди въ сторонѣ отъ всего живого, стоять потерянно, какъ тѣ іудейскіе воины, которыхъ вождь покинулъ у потока и повелъ впередъ только однихъ локавшихъ по-песью. Стоять

они даже не ожидая, что къ нимъ придетъ новый Гедеонтъ, который выжметъ передъ ними руно и разобьетъ водоносъ свой, а растерявшись измышляютъ только, какъ бы еще что-нибудь почуднѣе выкинуть въ своей старой, нигилистической курткѣ.

Вѣра Сергѣевна Онучина возбуждаетъ всеобщую зависть и удивленіе. Она нынче одна изъ блистательнѣйшихъ дамъ самаго представительнаго русскаго посольства. Мужа своего она терпѣть не можетъ, но и весьма равнодушно относится ко всѣмъ искательствамъ свѣтскихъ львовъ и онагровъ. По столичной хроникѣ, ея теплымъ вниманіемъ до сихъ поръ пользуется только одинъ ргімо тепоге итальянской оперы. Что будетъ далѣе—пока неизвѣстно. Серафима Григорьевна читаетъ сочиненія аббата Гёте и прокликаетъ Ренана. Кирилль Сергѣевичъ сдѣлался туристомъ. Онъ объѣхалъ западный берегъ Африки и путешествовалъ по всей Америкѣ. Недавно онъ возвратился въ Петербургъ и привезъ первое и послѣднее извѣстіе о Долинскомъ. Онучинъ видѣлъ Нестора Игнатьича съ іезуитскими миссіонерами въ Парагваѣ. По словамъ Кирилля Сергѣевича, на всѣ вопросы, которые онъ дѣлалъ Долинскому, тотъ съ ненарушимымъ спокойствіемъ отвѣчалъ только: «memento mori!»

### Пара строкъ вмѣсто эпилога.

Хищная возвратная горячка, вычеркнувшая прошедшею зимою такъ много человѣческихъ именъ изъ списка живыхъ питерщиковъ, отвела сажень приневской тундры для синьоры Луизы. Безпокойная подруга Илья Макаровича улеглась на вѣчный покой въ холодной могилѣ на Смоленскомъ кладбищѣ, оставивъ художнику пятилѣтняго сына, восьмилѣтнюю дочь и вексель, взятый ею когда-то въ обезпеченіе себѣ вѣрной любви до гроба. Илья Макаровичъ совсѣмъ засуетился съ сиротами и надѣлалъ бы Богъ-вѣсть какой чепухи, если бы въ спасеніе дѣтей не вступила Анна Михайловна. Она взяла ихъ къ себѣ и возится съ ними какъ лучшая мать. Илья Макаровичъ прибѣгаетъ теперь сюда каждый день взглянуть на своихъ ребятокъ, восторгается ими, поучаетъ ихъ любви и почтенію къ Аннѣ Михайловнѣ; цѣлуетъ ихъ черненькія головенки и нерѣдко плачетъ надъ ними. Онъ совсѣмъ не можетъ сладить съ

теперешнимъ своимъ одиночествомъ и, по собственному его выраженію, «нудится жизнью», скучаетъ ею. Недавно (читатель совершенно удобно можетъ вообразить, что это было вчера вечеромъ), Илья Макаровичъ явился къ Аннѣ Михайловнѣ съ лицомъ блѣднымъ, озабоченнымъ и серьезнымъ.

— Чтò съ вами, милый Илья Макаровичъ? — спросила его съ своимъ всегдашнимъ теплымъ участіемъ Анна Михайловна, трогаясь рукою за плечо художника.

Илья Макаровичъ быстро поцѣловалъ ея руку, отбѣжалъ въ сторону и заморгаль.

— Чтò съ вами такое сегодня? — переспросила, снова подходя къ нему и кладя ему на плечи свои ласковыя руки, Анна Михайловна.

— Со мной-съ?.. Со мной, Анна Михайловна, ничего. Со мной то же, чтò со всѣми: скучно очень.

Анна Михайловна тихо покачала головою и тихо сказала:

— Не весело; это правда.

— Анна Михайловна! — началъ, быстро оправляясь, художникъ:— у насъ ужъ такіе годы, что...

— Изъ ума выживать пора?

— Ахъ, нѣтъ-съ! то-то именно нѣтъ-съ. Въ наши годы можно о себѣ серьезнѣй думать. Просто разбитые мы всѣ люди: ни счастья у насъ, ни радостей у насъ, утромъ ждешь вечера, съ вечера ночь къ утру торопишь, жить ни при чемъ, а руки на себя наложить подло. Это что же это такое? Это просто терзанье, а не жизнь.

Тихая улыбка улетѣла съ лица Анны Михайловны, и она смотрѣла въ глаза художнику очень серьезно.

— А между тѣмъ... знаете чтò, Анна Михайловна... Не разсердитесь только вы Христа-ради?

— Я никогда не сержусь.

— Будьте матерью моимъ дѣтямъ: выйдите за меня замужъ, ей-Богу, ей-Богу я буду... хорошимъ человѣкомъ,— проговорилъ со страхомъ и надеждою Журавка и сильно прижалъ къ дрожащимъ и теплымъ губамъ Анны Михайловнину руку.

Анна Михайловна смотрѣла на художника попрежнему тихо и серьезно.

— Илья Макарычъ! — начала она ему послѣ минутной паузы. — Во-первыхъ, вы ободритесь и не конфузьтесь. Не

жалѣйте, пожалуйста, что вы мнѣ это сказали (она взяла его ладонью подъ подбородокъ и приподняла его опущенную голову). Вы ничѣмъ меня не обрадовали, но и ничѣмъ не обидѣли: сердиться на васъ мнѣ не за что; но только оставьте вы это, мой милый; оставьте объ этомъ думать.

— Да вѣдь я-жь бы любилъ васъ!—произнесъ совсѣмъ сквозь слезы Журавка, сжимая между своими руками руку Анны Михайловны и цѣлуя концы ея пальцевъ.

— Знаю, знаю, Илья Макарычъ, и вѣрю вамъ,—отвѣчала Анна Михайловна, матерински лаская его голову.

— Вѣдь выходятъ же замужъ и...—художникъ остановился.

— *Не любя*,—досказала Анна Михайловна.—Да, милый Илья Макарычъ, выходятъ, и очень-очень дурно дѣлають. Неужто вы хвалите тѣхъ, которыя такъ выходятъ?

— Нѣтъ... это я... такъ сказала,—отвѣчала, глотая слезы, Журавка.

— Такъ сказали? Да, я увѣрена, что вы въ эту минуту обо мнѣ не подумали. Но скажите же теперь, мой другъ, если вы нехорошаго мнѣнія о женщинахъ, которыя выходятъ замужъ *не любя* своего будущаго мужа, — то какого же вы были бы мнѣнія о женщинахъ, которая выйдетъ замужъ, любя не того, кого она будетъ называть мужемъ?

— Но вѣдь *его* нѣту; *онъ пропалъ*... погибъ.

— Погибшіе еще болѣе жалки.

— Да нѣтъ же, поймите вы, что вѣдь нѣтъ его совсѣмъ на свѣтѣ,—говорилъ, плача какъ ребенокъ, Журавка.

Анна Михайловна слегка наморщила брови и впервые въ жизни едва не разсердилась. Она положила свою руку на темя Ильи Макаровича, порывисто придвинула его ухо къ своему сердцу и сказала:

— Слышите? Это *онъ* стучитъ тамъ своимъ дорожнымъ посохомъ.



НА КРАЮ СВѢТА.





## ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Равнимъ вечеромъ, на святкахъ, мы сидѣли за чайнымъ столомъ въ большой голубой гостиной архіерейскаго дома. Насъ было семь человѣкъ, восьмой нашъ хозяинъ, тогда уже весьма престарѣлый архіепископъ, больной и немощный. Гости были люди просвѣщенные и между ними шель интересный разговоръ о нашей вѣрѣ и о нашемъ невѣрїи, о нашемъ проповѣдничествѣ въ храмахъ и о просвѣтительныхъ трудахъ нашихъ миссій на Востокѣ. Въ числѣ собесѣдниковъ находился нѣкъ о флота-капитанъ Б., очень добрый человѣкъ, но большой нападчикъ на русское духовенство. Онъ твердилъ, что наши миссіонеры совершенно неспособны къ своему дѣлу, и радовался, что правительство разрѣшило теперь трудиться на пользу Слова Божія чужеземнымъ евангелическимъ пасторамъ. Б. выражалъ твердую увѣренность, что эти проповѣдники будутъ у насъ имѣть огромный успѣхъ не среди однихъ евреевъ и докажутъ, какъ два и два—четыре, неспособность русскаго духовенства къ миссіонерской проповѣди.

Нашъ почтенный хозяинъ, въ продолженіе этого разговора, хранилъ глубокое молчаніе: онъ сидѣлъ съ покрытыми пледомъ ногами въ своемъ глубокомъ вольтеровскомъ креслѣ и, повидимому, думалъ о чемъ-то другомъ; но когда Б. кончилъ, старый владыка вздохнулъ и проговорилъ:

— Мнѣ кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что онъ правъ: чужеземные миссіонеры положительно должны имѣть у насъ большой успѣхъ.

— Я очень счастливъ, владыко, что вы раздѣляете мое мнѣніе,—отвѣчалъ капитанъ Б. и, сдѣлавъ вслѣдъ за симъ нѣсколько самыхъ благопристойныхъ и тонкихъ комплиментовъ извѣстной образованности ума и благородству характера архіерея, добавилъ:

— Ваше высокопреосвященство, разумѣется, лучше меня знаете всѣ недостатки русской Церкви, гдѣ, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные, и очень добрые,—я этого никакъ не стану оспаривать, но они едва ли понимаютъ Христа. Ихъ положеніе и прочее... заставляетъ ихъ толковать все... слишкомъ узко.

Архіерей посмотрѣлъ на него, улыбнулся и отвѣтилъ:

— Да, господинъ капитанъ, скромность моя не оскорбится признать, что я, можетъ-быть, не хуже васъ знаю всѣ скорби Церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я рѣшился признать вмѣстѣ съ вами, что въ Россіи Господа Христа понимаютъ менѣе, чѣмъ въ Тюбингенѣ, Лондонѣ или Женевѣ.

— Объ этомъ, владыко, еще можно спорить.

Архіерей снова улыбнулся и сказалъ:

— А вы, я вижу, охочи спорить. Чтò съ вами дѣлать! Отъ спора мы воздержимся, а бесѣдовать—давайте.

И съ этимъ словомъ онъ взялъ со стола большой, богато украшенный рѣзбою изъ слоновой кости, альбомъ и, раскрывъ его, сказалъ:

— Вотъ нашъ Господь!—Зову васъ посмотрѣть! Здѣсь я собралъ много изображеній Его лица. Вотъ Онъ сидитъ у кладезя съ женой самаритянской— работа дивная; художникъ, надо думать, понималъ и лицо, и моментъ.

— Да; мнѣ тоже кажется, владыко, что это сдѣлано съ понятіемъ,—отвѣчалъ Б.

— Однако, нѣтъ ли здѣсь въ Божественномъ лицѣ излишней мягкости? не кажется ли вамъ, что Ему ужъ слишкомъ все равно, сколько эта женщина имѣла мужей и что нынѣшній мужъ ей не мужъ?

Всѣ молчали; архіерей это замѣтилъ и продолжалъ:

— Мнѣ кажется, сюда немного строгаго вниманія было бы чертой нелишнею.

— Вы правы, можетъ-быть, владыко.

— Распространенная картина; мнѣ доводилось ее часто видѣть по преимуществу у дамъ. Посмотримъ далѣе. Опять

великій мастеръ. Христа цѣлуетъ здѣсь Иуда. Какъ кажется вамъ здѣсь Господень ликъ? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображеніе!

— Прекрасный ликъ!

— Однако, не слишкомъ ли много здѣсь усилія сдерживаться? Смотрите: лѣвая щека, мнѣ кажется, дрожить и на устахъ какъ бы гадливость.

— Конечно, это есть, владыко.

— О, да; да вѣдь Иуда ея ужъ, разумѣется, и стоишь; и рабъ, и льстецъ — онъ очень могъ ее вызвать у всякаго... только, впрочемъ, не у Христа, Который ничѣмъ не брезговалъ, а всѣхъ жалѣлъ. Ну, мы этого пропустимъ; Онъ насъ, кажется, не совсѣмъ удовлетворяетъ, хотя я знаю одного большого сановника, который мнѣ говорилъ, что онъ удачнѣе этого изображенія Христа представить себѣ не можетъ. Вотъ вновь Христосъ и тоже кисть великая писала. — Тицианъ: передъ Господомъ стоитъ коварный фарисей съ динаріемъ. Смотрите-ка: какой лукавый старецъ, но Христосъ... Христосъ... Охъ, я боюсь! смотрите: нѣтъ ли тутъ презрѣнія на Его лицѣ?

— Оно и быть могло, владыко!

— Могло, не спорю: старецъ гадокъ; но я, молясь, такимъ себѣ не мыслю Господа и думаю, что это неудобно? Не правда ли?

Мы отвѣчали согласіемъ, находя, что представлять лицо Христа въ такомъ выраженіи неудобно, особенно вознося къ Нему молитвы.

— Совершенно съ вами въ этомъ согласенъ, и даже припоминаю себѣ объ этомъ споръ мой нѣкогда съ однимъ дипломатомъ, которому *этой* Христосъ только и нравился; но, впрочемъ, что же?... моментъ дипломатическій. Но пойдемте далѣе: вотъ тутъ уже, съ этихъ мѣстъ у меня начинаются одинокія изображенія Господа, безъ сосѣдей. Вотъ вамъ снимокъ съ прекрасной головы скульптора Гауера: хорошъ, хорошъ! — ни слова; но мнѣ, воля ваша, эта академическая голова напоминаетъ гораздо менѣе Христа, чѣмъ Платона. Вотъ Онъ, еще... какой страдалецъ... какой ужасный видъ придалъ Ему Метсу!.. Не понимаю, зачѣмъ онъ Его такъ изблѣлъ, изсѣкъ и искровянилъ?.. Это, право, ужасно! Одухли вѣки, кровь и спянки... весь духъ, кажется, изъ Него выбитъ и на одно страдающее тѣло ужъ смотрѣтъ

даже страшно... Перевернемъ скорѣй. Онъ тутъ внушаетъ только состраданіе, и ничего болѣе. — Вотъ вамъ Лафонъ, можетъ-быть, и небольшой художникъ, да на многихъ нынче хорошо потрафилъ; онъ, какъ видите, понялъ Христа иначе, чѣмъ всѣ предыдущіе, и иначе Его себѣ и намъ представилъ: фигура стройная и привлекательная, ликъ добрый, голубинный, взглядъ подъ чистымъ лбомъ, и какъ легко волнуются здѣсь кудри: тутъ локоны, тутъ эти пѣтушки, крутятся, легли на лбу. Красиво, право! а на рукѣ Его пылаетъ сердце, обвитое терновою лозою. Это «*Sacré coeur*», что отцы іезуиты проповѣдуютъ; мнѣ кто-то сказывалъ, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображеніе; но оно, впрочемъ, нравится и тѣмъ, которые думаютъ, что у нихъ нѣтъ ничего общаго съ отцами іезуитами. Помню, мнѣ какъ-то разъ, въ лютой морозъ, довелось заѣхать въ Петербургъ къ одному русскому князю, который показывалъ мнѣ чудеса своихъ палатъ, и вотъ тамъ, не совѣмъ на мѣстѣ — въ зимнемъ саду, я увидѣлъ впервые этого Христа. Картина въ рамочкѣ стояла на столѣ, передъ которымъ сидѣла княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, шебечуть и порхаютъ птички, и она мечтаетъ. О чемъ? Она мнѣ сказала:—«пшетъ Христа». Я тогда и всмотрѣлся въ это изображеніе. Дѣйствительно, смотрите, какъ Онъ эффектно выходитъ, или, лучше сказать, износится изъ этой тьмы; за Нимъ ничего: ни этихъ пророковъ, которые докучали всѣмъ, бѣгая въ своихъ лохмотьяхъ и дѣлаясь даже за царскія колесницы,—ничего этого нѣтъ, а только тьма... тьма фантазій. Эта дама,—пошли ей Богъ здоровья,—первая мнѣ и объяснила тайну, какъ находить Христа, послѣ чего я и не спорю съ господиномъ капитаномъ, что иностранные проповѣдники у насъ не однимъ жидамъ Его покажутъ, а всѣмъ, кому хочется, чтобы Онъ пришелъ подъ пальмы и бананы слушать канареекъ. Только Онъ ли туда придетъ? Не пришелъ бы подъ Его слѣдъ кто другой къ нимъ? Признаюсь вамъ, я этому щеголеватому канареечному Христу охотно предпочелъ бы вотъ эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говоритъ мнѣ только о добромъ и восторженномъ раввинѣ, котораго, по опредѣленію господина Ренана, можно было любить и съ удовольствіемъ слушать... И вотъ вамъ, сколько пощимаій и представленій о Томъ, Кто одинъ всѣмъ намъ

на потребу! Закроемъ теперь все это и обернитесь къ углу, къ которому стоите спиною: опять ликъ Христовъ и уже на сей разъ это именно не лицо,—а ликъ. Типическое русское изображеніе Господа: взглядъ прямъ и простъ, темя возвышенное, что, какъ извѣстно, и по системѣ Лафатера означаетъ способность возвышеннаго богопочтенія; въ ликѣ есть выраженіе, но нѣтъ страстей. Какъ достигали такой прелести изображенія наши старые мастера?—это осталось ихъ тайной, которая и умерла вмѣстѣ съ ними и съ ихъ отверженнымъ искусствомъ. Просто—до невозможности желать простѣйшаго въ искусствѣ: черты чуть слегка означены, а впечатлѣніе полно; мужиковать Онъ, правда, но при всемъ томъ Ему подобаешь поклоненіе, и какъ кому угодно, а по-моему, нашъ простодушный мастеръ лучше всѣхъ *понялъ*—Кого ему надо было написать. Мужиковать Онъ, повторяю вамъ, и въ зимній садъ Его не позовутъ послушать канареекъ, да что бѣды!—гдѣ Онъ какимъ открылся, тамъ такимъ и ходитъ; а къ намъ зашелъ Онъ въ рабьемъ зракѣ и такъ и ходитъ, не имѣя, гдѣ главы приклонить отъ Петербурга до Камчатки. Знать Ему это нравится принимать съ нами поношенія отъ тѣхъ, кто пьетъ кровь Его и ее же проливаетъ. И вотъ, въ эту же мѣру, въ какую, по-моему, проще и удачнѣе наше народное искусство поняло виѣшнія черты Христова изображенія, и народный духъ нашъ, можетъ-быть, ближе къ истинѣ постигъ и внутреннія черты Его характера. Не хотите ли, я вамъ расскажу нѣкоторый, можетъ-быть не лишенный интереса, анекдотъ на этотъ случай.

— Ахъ, сдѣлайте милость, владыко; мы всѣ васъ просимъ объ этомъ!

— А, просите?—такъ и прекрасно: тогда и я васъ прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлянулись, поправились на мѣстахъ, чтобы не шевелиться, и архіерей началъ.

## ГЛАВА ВТОРАЯ.

— Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лѣтъ назадъ: это будетъ относиться къ тому времени, когда я еще, можно сказать, довольно молодымъ человѣкомъ, былъ поставленъ во епископы, въ весьма отдаленную си-

бирскую епархію. Я былъ отъ природы права пылкаго и любилъ, чтобы у меня было много дѣла, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначенію. Слава Богу, думалъ я, что мнѣ хотя для начала-то выпало на долю не только ставленниковъ стричь, да пьяныхъ дячковъ разобрать, а настоящее живое дѣло, которымъ можно съ любовію заняться. Я разумѣлъ именно то наше малоуспѣшное миссіонерство, о которомъ господинъ капитанъ изволилъ вспомнить въ началѣ нашей сегоднешней бесѣды. Ъхалъ я къ своему мѣсту, пылая рвеніемъ и съ планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергію остудилъ и, что еще важнѣе, — чуть-чуть было самага дѣла не перенортилъ, если бы мнѣ не данъ былъ спасительный урокъ въ одномъ чудесномъ событіи.

— Чудесное! — воскликнулъ кто-то изъ слушателей, позабывъ условіе не перебивать разсказа; но нашъ снисходительный хозяинъ за это не разсердился и отвѣчалъ:

— Да, господа, обмолвись словомъ, могу его не брать назадъ: въ томъ, что со мною случилось и о чемъ началъ вамъ разсказывать — не безъ чудесъ, и чудеса эти начали мнѣ являться чуть не съ самага перваго дня моего прибытія въ мою полудикую епархію. Первое дѣло, съ котораго начинается свою дѣятельность русскій архіерей, куда бы онъ ни пошалъ, конечно есть обзорнѣе внѣшности храмовъ и богослуженія, — къ этому обратился и я: велѣлъ, чтобы вездѣ были приняты прочь съ престоловъ лишніе евангелія и кресты, благодаря которымъ эти престолы у насъ часто превращаются въ какія-то выставки магазина церковной утвари. Заказалъ себѣ столько ковриковъ съ орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своихъ мѣстахъ, чтобы не шмыгали у меня съ ними подъ носомъ, подбрасывая ихъ подъ ноги. Съ усиліемъ и подъ страхомъ штрафовъ воздерживалъ дяконовъ не ловить меня во время служенія за локти и не забираться рядомъ со мною на горнее мѣсто, а иначе всего не надѣлать тумакami и подзагравками бѣдныхъ ставленниковъ, у которыхъ оттого, послѣ пріятія благодати Святаго Духа, недѣли по двѣ, и загорбокъ, и шея болятъ. И никто изъ васъ мнѣ не повѣритъ, сколько все это стоитъ труда и какія приносятъ досады, особенно человѣку нетерпѣливому, каковымъ я тогда былъ и остаюсь таковымъ же, къ моему стыду, отчасти и

доселѣ. Окончилось съ этимъ,— надо было приниматься за второе архіерейское дѣло первой важности: удостовѣриться, умѣютъ ли причетники читать, хоть ужъ если не по писанному, то, по крайней мѣрѣ, по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мнѣ, а порою и смѣшили. Безграмотный, или, по крайней мѣрѣ, «неписьменный» дьячокъ или понамарь и теперь еще, пожалуй, отыщется въ селѣ или въ уѣздномъ городишкѣ и внутри Россіи, что и оказалось, когда имъ, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, пришлось въ первый разъ расписываться въ полученіи жалованья. Но тогда,—во время оно, да еще въ Сибири,—это было явленіе самое обыкновенное. Я ихъ велѣлъ учить; они на меня, разумѣется, плакались и прозвали меня «лютымъ»; приходы жаловались, что нѣтъ чтецовъ, что архіерей «церкви разоряетъ». Что тутъ дѣлать! я сталъ отпускать на мѣста такихъ дьячковъ, которые хоть на память читать умѣли, и—о, Боже!—что за людей я видѣлъ! Косые, хромые, гугнявые, юродивые и даже... какіе-то одержимые. Одинъ, вмѣсто «Приидите, поклонимся Цареви Нашему Богу», закрывъ глаза, какъ перепелъ, колотилъ: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этимъ такъ, что удержать его невозможно. Другой—уже это именно былъ одержимый,—онъ такъ искусилъ въ скорохватѣ, что съ какимъ-нибудь извѣстнымъ словомъ у него являлась своя ассоціація идей, которой онъ никакъ не могъ не подчиняться. Такое слово для него было, напримѣръ, «на небеси». Начнетъ читать: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси»... и вдругъ у него что-то въ головѣ защелкнетъ, и онъ продолжаетъ: «да святится Имя Твое, да приидетъ царствіе». Что я съ этимъ тираномъ ни мучился, все было тщетно! Велѣлъ ему по книгѣ читать,—читаетъ: «Иже на всякое время, на всякій часъ на небеси», но вдругъ закрылъ книгу и пошелъ «да святится имя Твое», и залопоталъ до конца, и возглашаетъ «отъ лукаваго». Только тутъ и остановиться могъ: оказалось, что онъ не умѣетъ читать. За грамотностью дьячковъ очередь переходитъ къ благонравію семинаристовъ и опять начинаются чудеса. Семинарія была до того распуцена, воспитанники пьянствовали и до того безчинствовали, что, напримѣръ, одинъ философъ, при инспекторѣ, кончая вечернія молитвы, прочелъ: «ушваніе мое, Отецъ, прибѣжище мое Сынъ, по-

кровь мой Духъ Святой: Троица Святая,—*мое вамъ почитаніе*»; а въ богословскомъ классѣ другая исторія: одинъ послѣ обѣда благодарить, «яко насытилъ земныхъ благъ», и просить не лишитъ и «небеснаго царствія», а ему пзъ толпы кричатъ: «Свинья! нажрался, да еще въ царство небесное просишься».

Надо было подыскать какъ можно скорѣе инспектора, подходящаго подъ мой духъ,—тоже лютаго; при большой спѣшности и небольшомъ выборѣ попался такой: лютости въ немъ оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

— Я, говоритъ, ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

— Хорошо,—отвѣчаю:—примись по-военному...

Онъ и принялся и съ того началъ, что молитвы распорядился не читать, но пѣть хоромъ, дабы устранить всякія шалости, и то пѣть по его командѣ. Взойдетъ онъ при полномъ молчаніи и, пока не скомандуетъ, всѣ безмолвствуютъ; скомандуетъ: «молитву!» и запоютъ. Но этотъ уже очень «по-военному» уставилъ; скомандуетъ «молит-в-у-у!» Семинаристы только запоютъ «Очи всѣхъ Господи на Тя упов...»—онъ на половинѣ слова кричитъ: «Ст-о-ой!» и подзываетъ одного:

— Фроловъ, поди сюда!

Тотъ подходитъ.

— Ты Багрѣвъ?

— Нѣтъ-съ, я Фроловъ.

— А-а: ты Фроловъ?! Отчего же это я думалъ, что ты Багрѣвъ?

Опять хохотъ и опять ко мнѣ жалобы. Нѣтъ, вижу—не годится этотъ съ военными приемами, и нашель кое-какъ цивилиста, который былъ хотя не столь лютъ, но благоразумнѣе дѣйствовалъ: передъ учениками притворялся самымъ слабымъ добрякомъ, а мнѣ все ябедничалъ и повсюду рассказывалъ ужасы о моемъ звѣрствѣ. Я это зналъ и, видя, что эта мѣра оказывается дѣйствительною, не претилъ его системѣ.

Насплу этихъ своею «лютостію» въ повиновеніе привелъ, въ зрѣломъ возрастѣ чудеса пошли: доносятъ мнѣ, что въ соборнаго протоіерея возъ сѣна въ середину вѣхалъ и не можетъ выхвать. Посылаю узнавать; говорить: дѣйствительно



такъ. Протопопъ былъ тучный: послѣ обѣдни крестить въ купеческомъ домѣ и вдоволь облѣпихою угостился, а что отъ этой облѣпихи, что отъ другой тамошней ягоды, дикуши, хмель самый тяжелый и глухой. То и съ этимъ сталось: пришелъ домой, часа четыре заснулъ, всталъ и, выпивъ жбанъ квасу, легъ грудью на окно, чтобы поговорить съ кѣмъ-то, кто внизу стоялъ, и вдругъ... возъ съ сѣномъ въ него въхалъ. Вѣдь все это глупое такое, что даже противно сдѣлается, а раздѣлается, такъ, пожалуй, еще противнѣй станеть. На другой день келейникъ подаетъ мнѣ сапоги и докладываетъ, что «слава Богу, говоритъ, изъ отца протопопа возъ съ сѣномъ уже въхалъ».

— Очень радъ, говорю, таковой радости; но подай-ка мнѣ эту исторію обстоятельно.

Оказывается, что протопопъ, имѣвшій двухъ-этажный домъ, легъ на окно, подъ которымъ были ворота, и въ нихъ въ эту минуту въхалъ возъ съ сѣномъ, причемъ ему, отъ облѣпихи и отъ сна до одурн, показалось, что это въ него въхало. Невѣроятно, но, однако, такъ было: *credo, quia absurdum*.

Какъ же сего дивотворнаго мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать онъ ни за что не соглашался, потому что въ немъ возъ сидитъ; лѣкарь не находилъ лѣкарства противъ сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертѣлась, постучала и велѣла на дворѣ возъ сѣна наложить и назадъ выхалъ; больной принялъ, что это изъ него выхало, и исцѣлѣлъ.

Ну, послѣ этого дѣлайте съ нимъ, что хотите, а онъ свое уже сдѣлалъ: и людей насмѣшилъ, и шаманку призвалъ идольскими чарами его пользоваться; а такія вещи тамъ не въ мѣшечкѣ лежатъ, а на дорожкѣ бѣжать. «Что-де попы,—они ничего не значатъ и сами нашихъ шамановъ зовутъ шайтана отгонять». И идутъ себѣ да идутъ этикія глупости. Долго я приправлялъ, какъ могъ, сіи дымящія лампады, и приходская часть мнѣ черезъ нихъ невыносимо надокучила; но зато насталъ давно желанный и возжеланный мигъ, когда я могъ всего себя посвятить трудамъ по просвѣщенію дикихъ овецъ моей паствы, пасущихся безъ пастыря.

«Забралъ я себѣ всѣ касающіяся этой части бумаги и присѣлъ за нихъ вплотную, такъ что и отъ стола не отхожу».

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Ознакомясь съ миссіонерскими отчетностями, я остался всею дѣятельностію недоволенъ болѣе, чѣмъ дѣятельностію моего приходскаго духовенства: обращеній въ христіанство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этихъ обращеній значилась только на бумагѣ. На самомъ же дѣлѣ одни изъ крещеныхъ снова возвращались въ свою прежнюю вѣру, — ламайскую или шаманскую; а другіе дѣлали изъ всѣхъ этихъ вѣръ самое странное и нелѣпое смѣшеніе: они молились и Христу съ Его апостолами, и Буддѣ съ его буддисадами, да тенгеринами, и войлочнымъ сумочкамъ съ шаманскими ангонами. Двоевѣріе держалось не у однихъ кочевниковъ, а почти и повсемѣстно въ моей частвѣ, которая не представляла отдѣльной вѣтви какой-нибудь одной народности, а какіе-то щепы и осколки Богъ вѣсть когда и откуда сюда поавшихъ племенныхъ разновидностей, бѣдныхъ по языку и еще болѣе бѣдныхъ по понятіямъ и фантази. Видя, что все, касающееся миссіонерства, находится здѣсь въ такомъ хаосѣ, я возымѣлъ объ этихъ монахахъ сотрудникахъ мнѣніе самое невыгодное и обошелся съ ними нетерпѣливо сурово. Вообще, я сталъ очень раздражителенъ, и данное мнѣ прозвище «лютаго» начало мнѣ приличествовать. Особенно испыталъ на себѣ печать моего гнѣвливаго нетерпѣнія бѣдный монастырекъ, который я избралъ для своего жительства и при которомъ желалъ основать школу для мѣстныхъ инородцевъ. Разспросивъ чернецовъ, я узналъ, что въ городѣ почти всѣ говорятъ по-якутски, но изъ монаховъ иноковъ изъ всѣхъ инородчески говорить только одинъ очень престарѣлый іеромонахъ, отецъ Кириакъ, да и тотъ къ дѣлу проповѣди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочетъ идти къ дикимъ проповѣдывать.

— Что это, спрашиваю, за ослушникъ, и какъ онъ смѣетъ? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но еkkлезіархъ мнѣ отвѣчаетъ, что слова мои передастъ, но послушанія отъ Кириака не ожидаетъ, потому что это уже ему не первое:—что и два мои быстро другъ за другомъ смѣнившіеся предмѣстника съ нимъ строгость пробовали, но онъ уперся и одно отвѣчаетъ:

— «Душу за моего Христа положить радъ, а крестить

тамъ (то-есть въ пустыняхъ) не стану». Даже, говорить, самъ просилъ лучше сана его лишитъ, но туда не посылать. И отъ священнодѣйствія много лѣтъ былъ за это ослушаніе запрещенъ, но нимало тѣмъ не тяготился, а, напротивъ, съ радостью несъ самую простую службу: то сторожемъ, то въ звонарнѣ. И всѣми любимъ: и братіей, и мірянами, и даже язычниками.

— Какъ? удивляюсь: неужто даже и язычниками?

— Да, владыко, и язычники къ нему шныре заходятъ.

— За какими же дѣломъ?

— Уважаютъ его какъ-то изстари, когда еще онъ на проповѣдь ѣздилъ въ прежнее время.

— Да каковъ онъ былъ въ то, въ прежнее-то время?

— Прежде самый успѣшный миссіонеръ былъ и множество людей обращалъ.

— Чтѣ же ему такое сдѣлалось? отчего онъ бросилъ эту дѣятельность?

— Понять нельзя, владыко; вдругъ ему что-то приключилось: вернулся изъ стеней, принесъ въ алтарь мурницу и дароносицу и говоритъ:—Ставлю и не возьму опять, доколѣ не придетъ часъ.

— Какой же ему нуженъ часъ? чтѣ онъ подъ симъ разумѣеть?

— Не знаю, владыко.

— Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколѣ живу съ вами и терплю васъ? Какъ васъ это ничто дѣла касающееся не интересуетъ? Помните себѣ, что если тѣхъ, коп ни горячи, ни холодны, Господь обѣщаль изблевать съ устъ своихъ, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой епископъ оправдывается:

— Всячески, говоритъ, владыко, мы у него любознательствовали, но онъ одно отвѣчаетъ: — «Нѣтъ, говоритъ, дѣтшки, это дѣло не шутка,—это страшное... и на это смотрѣть не могу».

А чтѣ такое страшное, на это епископъ не могъ мнѣ ничего обстоятельнаго отвѣтить, а сказалъ только, что «полагаемъ-де такъ, что отцу Киріаку при проповѣди какое-либо откровеніе было». Меня это разсердило. Признаюсь вамъ, я недолюбливаю этотъ ассортиментъ «слышущихъ», которые живи чудеса творятъ и непосредственными от-

кровеніями хвалятся, и причины имѣю ихъ недолюбливать. А потому я сейчасъ же потребовалъ этого строптиваго Киріака къ себѣ и, не довольствуясь тѣмъ, что уже достаточно слылъ грознымъ и лютымъ, взялъ да еще принаступилъ: былъ готовъ опалить его гнѣвомъ, какъ только покажется. Но пришелъ къ моимъ очамъ монашекъ, такой маленькій, такой тихій, что не на кого и взоровъ метать; одѣтъ въ облінялой коленкоровой ряскѣ, клобукъ толстымъ сукномъ покрытъ, собой черненькій, востролицынькій, а входитъ бодро, безъ всякаго подобострастія, и первый меня привѣтствуетъ:

— Здравствуй, владыко!

Я не отвѣчаю на его привѣтствіе, а начинаю сурово:

— Ты что это здѣсь чудишь, пріятель?

— Какъ, говорить, владыко? Прости, будь милостивъ: я маленько на ухо тугъ—не все дослышалъ.

Я еще погромче повторилъ.

— Теперь, молъ, понялъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, ничего не понялъ.

— А почему ты съ проповѣдью идти не хочешь и крестить инородцевъ избѣгаешь?

— Я, говоритъ, владыко, ѣздилъ и крестилъ, пока опыта не имѣлъ.

— Да, молъ; а опытъ получивши и пересталъ?

— Пересталъ.

— Что же сему за причина?

Вздохнулъ и отвѣчаетъ:

— Въ сердцѣ моемъ сія причина, владыко, и Сердцевѣдецъ ее видитъ, что велика она и мнѣ, немощному, непоспльна... Не могу!

И съ снѣмъ въ ноги мнѣ поклонился.

Я его поднялъ и говорю:

— Ты мнѣ не кланяйся, а объясни: что ты откровене, что ли, какое получилъ, или съ самимъ Богомъ бесѣдовалъ?

Онъ съ кроткою укоризною отвѣчаетъ:

— Не смѣйся, владыко; я не Моисей, Божій избранникъ, чтобы мнѣ съ Богомъ бесѣдовать; тебѣ грѣхъ такъ думать.

Я устыдился своего ныла и смягчился, и говорю ему:

— Такъ что же? за чѣмъ дѣло?

— А за тѣмъ, видно, и дѣло, отвѣчаетъ, что я не Моисей

сей, что я, владыко, робокъ и свою силу-мѣру знаю: изъ Египта-то языческаго я вывестъ—выведу, а Чермнаго моря не разсѣку и изъ степи не выведу, и воздвигну простыя сердца на ропоть къ преобидѣ Духа Святаго.

Видя этукую образность въ его живой рѣчи, я было заключилъ, что онъ, вѣроятно, самъ изъ раскольниковъ, и спрашиваю:

— Да ты самъ-то какимъ чудомъ въ единеніе съ Церковью приведенъ?

— Я, отвѣчаетъ, въ единеніи съ нею съ моего младенчества и пребуду въ немъ даже до гроба.

И рассказать мнѣ преепростое и преестранное свое происхожденіе. Отецъ у него былъ попъ, рано овдовѣлъ; повѣнчалъ какую-то незаконную свадьбу и былъ лишенъ мѣста, да такъ, что всю жизнь потомъ не могъ себѣ его нигдѣ отыскать, а состоялъ при нѣкоей пожилой важной дамѣ, которая всю жизнь съ мѣста на мѣсто ѣздилъ и, боясь умереть безъ покаянія, для этого случай сего попа при себѣ возила. Ѣдетъ она, — онъ на передней лавочкѣ съ нею въ каретѣ сидитъ; а она въ домъ войдетъ,—онъ въ передней съ лакеями ее ожидаетъ. И можете себѣ вообразить чело-вѣка, у котораго этакая была вся жизнь! А между тѣмъ, онъ, не имѣя уже своего алтаря, питался буквально отъ своей дароносницы, которая съ нимъ за пазухою путешествовала, и на сынишку онъ у этой дамы какія-то крохи вымаливалъ, чтобы въ училищѣ его содержать. Такъ они и въ Сибирь попали: барыня сюда поѣхала дочь навѣститъ, которая была тутъ за губернаторомъ замужемъ, и попа съ дароносницей на передней лавочкѣ привезла. Но какъ путь былъ далекій, да къ тому же еще барыня тутъ долго оставаться собиралась, то поппкъ, любя сынишку, не соглашался безъ него ѣхать. Барыня подумала-подумала — и, видя, что ей родительскіе чувства не переупрямить, согласилась и взяла съ собою и мальчишку. Такъ онъ сзади за каретою переѣхалъ изъ Европы въ Азію, имѣя при семъ путевымъ долгомъ охранять своимъ присутвіемъ привязанный на запяткахъ чемоданъ, на которомъ и самого его привязали, дабы сонный не свалился. Тутъ и его барыня, и его отецъ умерли, а онъ остался, за бѣдностію курса не кончивъ, въ солдаты попалъ, этапъ водилъ. Имѣя мѣткій глазъ, по приказанію начальства, не цѣлясь, въ догонъ за

какимъ-то бѣглымъ пулю пустилъ и безъ всякаго желанія, на свое горе, убилъ того, и съ той поры онъ все страдалъ, все мучился и, сдѣлавшись негоднымъ къ службѣ, въ монахи пошелъ, гдѣ его отличное поведеніе было замѣчено, а знаніе инородческаго языка и его религіозность побудили склонить его къ миссіонерству.

Выслушалъ я эту простую, но трогательную повѣсть старика и стало мнѣ его до жуткости жалко, и чтобы переменить съ нимъ тонъ, я ему говорю:

— Такъ, стало-быть, это, что подозрѣваютъ, будто ты чудеса какія-нибудь видѣлъ, это неправда?

Но онъ отвѣчаетъ:

— Отчего же, владыко, неправда?

— Какъ?.. такъ ты видѣлъ чудеса?

— Кто же, владыко, чудеса не видѣлъ?

— Однако?

— Что, однако? Куда ни глянь — все чудо: вода ходить въ облакѣ, воздухъ землю держитъ, какъ перышко; вотъ мы съ тобою прахъ и пепель, а движемся и мыслимъ, и то мнѣ чудесно; а умремъ и прахъ разсыпется, а духъ пойдетъ къ Тому, Кто его въ насъ заключилъ. И то мнѣ чудно: какъ онъ нагъ безо всего пойдетъ? кто ему крыла дастъ яко голубицѣ, да полетитъ и почіетъ?

— Ну, это-то, молъ, мы оставимъ другимъ разсуждать, а ты скажи мнѣ, не виляя умомъ: не было ли съ тобою въ жизни какихъ-либо необычайныхъ явленій, или чего иного въ семъ родѣ?

— Было отчасти и это.

— Что же такое?

— Очень, говоритъ, владыко, съ дѣтства я былъ взысканъ Божіей милостію и недостойно получалъ дважды чудесныя заступленія.

— Гм? разсказывай.

— Первый разъ это было, владыко, въ сущемъ младенчествѣ. Въ третьемъ классѣ я былъ еще и очень мнѣ въ поле гулять идти хотѣлось. Мы, трое мальчишекъ, пошли у смотрителя рекреацію просить, да не выпросили и рѣшились солгать, а зачинщикъ всему тому я былъ. «Давай, говорю, ребята, всѣхъ обманемъ, побѣжимъ и закричимъ: отпустилъ, отпустилъ!» Такъ и сдѣлали; всѣ съ нашего слова и разбѣжались изъ классовъ и пошли гулять и ку-

паться, да рыбченку ловить. А къ вечеру на меня страхъ и напасть: что мнѣ будетъ, какъ домой вернемся?—запоретъ смотритель. Прихожу и гляжу — уже и розги въ лохани стоять; я скорѣй драла, да въ баню, спрятался подъ полокъ, да и ну молиться: «Господи! хотя нельзя, чтобы меня не пороть, но сдѣлай, чтобы не пороли!» И такъ усердно объ этомъ въ жару вѣры молился, что даже запотѣлъ и обезсилѣлъ; но тутъ вдругъ на меня чудной прохладой тихой повѣяло и у сердца какъ голубокъ тепленькій зашевелился, и сталъ я вѣрить въ невозможность спасенія какъ въ возможное, и покой ощутилъ, и такую отвагу, что вотъ не боюсь ничего, да и кончено! И взялъ да и спать легъ: а просыпаюсь, слышу, товарищи-ребятишки весело кричатъ: «Кирюшка! Кирюшка! гдѣ ты? выльзай скорѣй, — тебя пороть не будутъ, ревизоръ пріѣхалъ и насъ гулять отпустилъ».

— Чудо, говорю, твое простое.

— Просто и есть, владыко, какъ сама Тронца во единицѣ—простое существо,—отвѣчать онъ и съ неописаннымъ блаженствомъ во взорѣ добавилъ:

— Да вѣдь какъ я, владыко, Его чувствовалъ-то! Какъ пришелъ-то Онъ, батюшка мой, отрадненькій! удивилъ и обрадовалъ. Самъ суди: всея вселенной Онъ не обхватить, а видя ребячью скорбь, подъ банный полочекъ къ мальченокѣ подползъ въ дусъ хлада тонка и за пазушкой обиталъ...

Я вамъ долженъ признаться, что я болѣе всякихъ представлений о Божествѣ люблю этого, нашего *русскаго Бога*, который творить себѣ обитель «за пазушкой». Тутъ, что намъ господа греки ни толкуй, и какъ ни доказывай, что мы имъ обязаны тѣмъ, что и Бога черезъ нихъ знаемъ,— а не они намъ Его открыли:—не въ ихъ пышномъ византийствѣ мы обрѣли Его въ дымѣ каждаей, а Онъ у насъ свой притоманный и по-нашему, попросту, всюду ходитъ. и подъ банный полочекъ безъ ладана въ дусъ хлада тонка проникнетъ, и за теплою пазухой голубкомъ приоборкается.

— Продолжай, говорю, отецъ Киріакъ,—о другомъ чудѣ разсказа жду.

— Сейчасъ и про другое, владыко. Это было, какъ я сталъ уже дальше отъ Него, помаловѣрнѣе,—это было, какъ я сюда за каретою ѣхалъ. Взять меня надо было изъ рос-

сійскаго училища и сюда перевести передь самымъ экзаменомъ. Я не боялся, потому что первымъ ученикомъ быть и меня бы безъ экзамена въ семинарію приняли; а смотритель возьми, да и напиши мнѣ свидѣтельство во всемъ *посредственное*. «Это, говоритъ, нарочно, для нашей славы, чтобы тебя тамъ экзаменовать стали и увидали, каковыхъ мы за посредственныхъ считаемъ». Горе было намъ съ отцомъ ужасное; а къ тому же, хотя отецъ меня и заставлялъ, чтобы я дорогою, на заняткахъ сидя, учился, по я разъ заснулъ и, черезъ рѣчку вбродъ переѣзжая, все книжки свои потерялъ. Самъ горько плачучи, отецъ жестоко меня за это на постояломъ дворѣ выпоролъ; а все-таки, пока мы до Сибири доѣхали, я все позабылъ и начинаю опять по-ребячьи молиться: «Господи, помоги! сдѣлай, чтобы меня безъ экзамена приняли». Нѣтъ; какъ Егони просилъ, посмотрѣли на мое свидѣтельство и велѣли на экзамень идти. Прихожу печальный; все ребята веселые и въ чехарду другъ черезъ дружку прыгаютъ, — одинъ я такой, да еще другой, тощій-претощій мальчишка сидитъ, не учится, такъ, отъ слабости, говоритъ: «лихорадка забила». А я сижу, гляжу въ книгу и начинаю въ умѣ перекоряться съ Господомъ: «ну, что же? думаю, вѣдь ужъ какъ я Тебя просилъ, а Ты вотъ ничего и не сдѣлалъ!» И съ этимъ всталъ, чтобы пойти воды напиться, а меня какъ что-то по самой серединѣ камеры хлопъ по затылку и на полъ бросило... Я подумалъ: это вѣрно за наказаніе! помочь-то Богъ мнѣ ничего не помогъ, а вотъ еще и ударилъ. Анъ, смотрю, нѣтъ: это просто тотъ больной мальчикъ черезъ меня прыгнуть вздумалъ, да не осилить, и самъ упалъ и меня сбилъ. А другіе мнѣ говорятъ: «гляди-ка, чужакъ, у тебя рука-то метается». Попробовалъ, а рука сломана. Повели меня въ больницу и положили, а отецъ туда пришелъ и говоритъ: «не тужи, Кириона, тебя зато теперь безъ экзамена приняли». Тутъ я и понялъ, какъ Богъ-то все устроилъ, и плакать сталъ... А экзамень-то легкій, прелегкій былъ, такъ что я его шутя бы и выдержалъ. Значить: не зналъ я, дурачокъ, чего просилъ, но и то исполнено, да еще съ вразумленіемъ.

— Ахъ, ты, говорю, отецъ Кириакъ, отецъ Кириакъ? да ты человекъ преутѣшительный!..— Расцѣловалъ я его неоднократно, отпустилъ, и, ни о чемъ болѣе не разспрашивая,



велѣль ему съ завтрашняго же дня ходить ко мнѣ, учить меня тунгусскому и якутскому языку.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Но отступивъ со своею суровостію отъ Кириака, я зато напустился на прочихъ монаховъ своего монастырька, отъ коихъ, по правдѣ сказать, не видалъ ни Кириакова простодушія и никакого дѣла на службу вѣры полезнаго: живутъ себѣ этакимъ, такъ сказать, форпостомъ христіанства въ краю язычниковъ, а ничего, лѣнивцы, не дѣлають, — даже языку туземному ни одинъ не озаботился научиться.

Щунялъ я ихъ, щунялъ келейно и, накопецъ, съ амвона на нихъ громыхнулъ словомъ царя Ивана къ преподобному Гурію, что «напрасно-де именуютъ чернецовъ ангелами, — нѣтъ имъ съ ангелами сравненія, ни какого-либо подобія, а должны они уподобляться апостоламъ, которыхъ Христось послалъ учить и крестить!»

Кириакъ приходитъ ко мнѣ на другой день урокъ давать и прямо мнѣ въ ноги:

— Что ты? что ты? говорю, подымая его; учителю благій, тебѣ это не довлѣетъ ученику въ ноги кланяться.

— Нѣтъ, владыко, ужъ очень ты меня утѣшилъ, такъ утѣшилъ, что я и въ жизнь не чаялъ такого утѣшенія!

— Да чѣмъ, говорю, Божій человекъ, ты такъ мною обрадованъ?

— А что велѣшь монахамъ учиться, да идущи *впередъ учить, а потомъ крестить*; ты правъ, владыко, что такой порядокъ устроилъ, его и Христось велѣлъ и приточникъ поучаетъ: «идѣже нѣсть ученія души, нѣсть добра». Крестить-то они всѣ могучи, а обучить слову нѣтяги.

— Ну, ужъ это, говорю, ты меня, братъ, кажется, шире понять, чѣмъ я говорилъ; этакъ, вѣдь, по-твоему и дѣтей бы не надѣ крестить.

— Дѣти христіанскія другое дѣло, владыко.

— Ну да; и предковъ бы нашихъ князь Владиміръ не окрестилъ, если бы долго отъ нихъ научености ждалъ.

А онъ мнѣ отвѣчаетъ:

— Эхъ, владыко, да вѣдь и впрямь бы ихъ, можетъ, прежде поучить лучше было. А то, самъ, чай, въ лѣтописи читалъ, — все больно скоро варомъ вскипѣлю, «понеже благочестіе его со страхомъ бѣ сопряжено». Платонъ митропо-

лить мудро сказала: «Владиміръ поспѣшилъ, а греки слу-  
кавили,—невѣждѣ ненаученныхъ окрестили». Чтѣ намъ ихъ  
слѣшкѣ съ лукавствомъ слѣдовать? вѣдь они, знаешь, «лѣсти-  
вы даже до сего дня». Итакъ, во Христа-то мы крестим-  
ся, да во Христа не облакаемся. Тщетно это такъ кре-  
стить, владыко!

— Какъ, говорю, тщетно, отецъ Кириакъ, чтѣ ты это,  
батьюшка, проповѣдуешь?

— А что же, отвѣчаетъ, владыко?—вѣдь это благочести-  
вой тростью писано, что одно водное крещеніе невѣждѣ къ  
пріобрѣтенію жизни вѣчной не служитъ.

Посмотрѣлъ я на него и говорю серьезно:

— Послушай, отецъ Кириакъ, вѣдь ты еретичествуешь.

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, во мнѣ нѣтъ ереси. я по тайновод-  
ству святого Кирилла Іерусалимскаго правовѣрно говорю:  
«Симонъ волховъ въ купѣли тѣло омочи водою, но сердце не  
просвѣти духомъ, и сниде, и изыде тѣломъ, а душою не  
спогребеса, и не возста». Что окрестился, что выкупался,  
все равно христіанномъ не быть. Живъ Господь и жива  
душа твоя, владыко,—вспомни, развѣ не писано: будутъ и  
крещеные, которые услышатъ «не вѣмъ васъ», и некреще-  
ные, которые отъ дѣлъ совѣсти оправдятся и внидутъ, яко  
хранившіе правду и истину. Неужели же ты сіе отметаешь?

Ну, думаю, подождемъ объ этомъ бесѣдовать, и говорю:

— Давай-ка, говорю, братъ, не іерусалимскому, а ди-  
карскому языку учиться, бери указку, да не больно сердись,  
если я не толковъ буду.

— Я не сердить, владыко, отвѣчаетъ.—И точно, удиви-  
тельно былъ благодушный и откровенный старикъ и пре-  
красно училъ меня. Толково и быстро открылъ онъ мнѣ  
всѣ таинства, какъ постичь эту мольвь, такую бѣдную и  
немногословную, что ее едва ли можно и языкомъ назвать.  
Во всякомъ разѣ это не болѣе какъ языкъ жизни живот-  
ной, а не жизни умственной; а между тѣмъ усвоить его  
очень трудно: обороты рѣчи, краткіе и неперіодическіе,  
дѣлаютъ крайне затруднительнымъ переводы на эту мольвь  
всякаго текста, изложеннаго по правиламъ языка вырабо-  
таннаго, со сложными періодами и подчиненными предло-  
женіями; а выраженія поэтическія и фігуральныя на него  
вовсе не переводимы, да и понятія, ими выражаемыя, оста-  
лись бы для этого бѣднаго люда недоступны. Какъ раз-

сказать имъ смыслъ словъ: «будьте хитры, какъ зми, и незлобивы, какъ голуби», когда они и ни зми, и ни голубя никогда не видали и даже представить ихъ себѣ не могутъ. Нельзя имъ подобрать словъ: ни мученикъ, ни креститель, ни предтеча, а Пресвятую Дѣву, если перевести по ихнему словами *иочмо Абя*, то выйдетъ не наша Богородица, а какое-то шаманское божество женскаго пола, — короче сказать, — *боиня*. Про заслуги же св. крови, или про другія тайны вѣры еще трудно говорить, а строить имъ какую-нибудь богословскую систему, или просто слово молвить о рожденіи безъ мужа, отъ дѣвы, — и думать нечего: — они или ничего не поймутъ, и это самое лучшее, а то, пожалуй, еще прямо въ глаза расхохочутся.

Все это мнѣ передалъ Кириакъ и передалъ такъ превосходно, что я, узнавъ духъ языка, постигъ и весь духъ этого бѣднаго народа; и что всего мнѣ было самому надъ собою забавнѣе, что Кириакъ съ меня самымъ незамѣтнымъ образомъ всю мою напускную суровость сбилъ: между нами установились отношенія самыя пріятныя, легкія и такія шутивыя, что я, держась сего шутиваго тона, при концѣ своихъ уроковъ, велѣлъ горшокъ каши сварить, положилъ на него серебряный рубль денегъ, да чернаго сукна на рясу, и понесъ все это, какъ выученикъ, къ Кириаку въ келью.

Онъ жилъ подъ колокольнею въ такой маленькой кельѣ, что какъ я вошелъ туда, такъ двоимъ и повернуться негдѣ, а своды прямо на темя давятъ; но все тутъ опрятно, и даже на полутемномъ окнѣ съ рѣшеткою, въ разбитомъ варпестомъ горшкѣ, астра цвѣтеть.

Кириака я засталъ за дѣломъ, — онъ низалъ что-то изъ рыбей чешун ишивалъ на холстикъ.

— Что ты это, говорю, стряпаешь?

— Уборчики, владыко.

— Какіе уборчики?

— А вотъ дѣвчонкамъ маленькимъ дикарскимъ уборчики: онѣ на ярмарку приѣзжаютъ, я имъ и дарю.

— Это ты язычникъ невѣрныхъ радуешь?

— И-и, владыко! полно-ка тебѣ все такъ: «невѣрные», да «невѣрные»; всѣхъ одинъ Господь создалъ; жалѣть ихъ, слѣпыхъ, надо.

— Просвѣщать, отецъ Кириакъ.

— Просвѣтитъ, говоритъ, хорошо это, владыко, просвѣтитъ. Просвѣти, просвѣти,—и зашепталъ: «да просвѣтитесь свѣтъ твой предъ челоуѣки, когда увидятъ добрыя твоя дѣла».

— А я вотъ, говорю, къ тебѣ съ поклономъ пришелъ и за выучку горшокъ каши принесъ.

— Ну, что же, хорошо, говоритъ; садись же и самъ при горникѣ посиди,—гость будешь.

Усадили онъ меня на обрубочекъ, самъ сѣлъ на другой, а кашу мою на скамью поставилъ и говоритъ:

— Ну, покушай у меня, владыко; твоимъ же добромъ да тебѣ же челоуѣ.

Стали мы ѣсть со старикомъ кашу и разговорились.

### ГЛАВА ПЯТАЯ.

Меня, по правдѣ сказать, очень занимало, что такое отклонило Кириака отъ его успѣшной миссіонерской дѣятельности и заставило такъ странно, по тогдашнему моему взгляду,—почти преступно, или, во всякомъ случаѣ, соблазнительно относиться къ этому дѣлу.

— О чемъ, говорю, станемъ бесѣдовать? — къ доброму привѣту хороша и бесѣда добрая. Скажи же мнѣ: не знаешь ли ты, какъ намъ научить вѣрѣ вотъ этихъ инородцевъ, которыхъ ты все подъ свою защиту берешь?

— А учить надо, владыко, учить, да отъ добраго житія примѣръ имъ показать.

— Да гдѣ же мы съ тобою ихъ будемъ учить?

— Не знаю, владыко; къ нимъ бы надо съ наученіемъ идти.

— То-то и есть.

— Да, учить надо, владыко; и утромъ сѣять сѣмя, и вечеромъ не давать отдыха рукѣ,—все сѣять.

— Хорошо говоришь, — отчего же ты такъ не дѣлаешь?

— Освободи, владыко, не спрашивай.

— Нѣтъ, ужъ, расскажи.

— А требуешь рассказать, такъ поясни: зачѣмъ мнѣ туда идти?

— Учить и крестить.

— Учить?—учить-то, владыко, неспособно.

— Отчего? врагъ, что ли, не даетъ?

— Нѣ-ѣтъ! что врагъ, — велика ли онъ для крещенаго челоуѣка особа: его однимъ пальчикомъ перекрести, онъ и сгинеть; а вражки мѣшаютъ,—вотъ бѣда!

— Что это за вражи?

— А вотъ куцые одѣтели, отцы благодѣтели, приказные, чиновные, съ принисью подьячіе.

— Эти, стало быть, самого врага сильнѣй?

— Какъ же можно: сей родъ, знаешь, ничѣмъ не изымается, даже ни молитвою, ни постомъ.

— Ну, такъ надо, значить, просто крестить, какъ всѣ крестятъ.

— Крестить...—проговорилъ за мною Кириакъ, и—вдругъ замолчалъ и улыбнулся.

— Что же? продолжай.

Улыбка сошла съ губъ Кириака, и онъ съ серьезною и даже суровою миной добавилъ:

— Нѣтъ, я скорохватомъ не хочу это дѣлать, владыко.

— Что-о-о!

— Я не хочу этого такъ дѣлать, владыко, вотъ что!—отвѣчалъ онъ твердо и опять улыбнулся.

— Чего ты смѣешься? говорю.— А если я тебѣ велю крестить?

— Не послушаю, —отвѣчалъ онъ, добродушно улыбнувшись, и, фамиллярно хлопнувъ меня рукою по колену, заговорилъ:

— Слушай, владыко: читалъ ты или нѣтъ,—есть въ житіяхъ одна славная повѣсть.

Но я его перебилъ и говорю:

— Поосвободи, пожалуйста, меня съ житіями: здѣсь о словѣ Божіемъ, а не о преданіяхъ человѣческихъ. Вы, чернецы, знаете, что въ житіяхъ можно и того, и другого достать, и потому и любите все изъ житій хватать.

А онъ отвѣчаетъ:

— Даи же мнѣ, владыко, кончить; можегъ я и изъ житій что-нибудь прикладно скажу.

И рассказалъ старую исторію изъ первыхъ христіанскихъ вѣковъ о двухъ друзьяхъ, — христіанинѣ и язычникѣ, изъ коихъ первый часто говорилъ послѣднему о христіанствѣ и такъ ему этимъ надокучилъ, что тотъ, будучи до тѣхъ поръ равнодушенъ, вдругъ сталъ ругаться и изрыгать самыя злыя хулы на Христа и на христіанство, а при этомъ его подхватилъ конь и убилъ. Другъ, христіанинъ, видѣлъ въ этомъ чудо и былъ въ ужасѣ, что другъ его, язычникъ, оставилъ жизнь въ такомъ враждебномъ ко Христу настрое-

ни. Христіанинъ сокрушался объ этомъ и горько плакалъ, говоря: лучше бы я ему совсѣмъ ничего о Христѣ не говорилъ,—онъ бы тогда на Него не раздражался и отвѣта бы въ томъ не далъ. Но, къ утѣшенію его, онъ извѣстился духовно, что другъ его принять Христомъ, потому что, когда язычнику никто не докучалъ настойчивостію, то онъ самъ съ собою размышлялъ о Христѣ и призывалъ Его въ своемъ послѣднемъ вздохѣ.

— А Тотъ, говорить, тутъ и былъ у его сердца: сейчасъ и обнялъ и обитель далъ.

— Это опять, значить, все дѣло свертѣлось «за пазушкой»?

— Да, за пазушкой.

— Вотъ это-то, говорю, твоя бѣда, отецъ Киріакъ, что ты все на пазуху-то уже очень располагаешься.

— Ахъ, владыко, да какъ же на нее не полагаться: тайны-то уже тамъ очень большія творятся,—вся благодать оттуда идетъ: и материно молоко дѣтопитательное, и любовь тамъ живетъ, и вѣра. Вѣрь,—такъ, владыко. Тамъ она, вся тамъ; сердцемъ однимъ ее только и вызовешь, а не разумомъ. Разумъ ее не создаетъ, а разрушаетъ: онъ родитъ сомнѣнія, владыко; а вѣра покой даетъ, радость даетъ... Это, я тебѣ скажу, меня обильно утѣшаетъ; ты вотъ глядишь какъ дѣло идетъ, да сердшься, а я все радуюсь.

— Чему же ты радуешься?

— А тому, что все добро зѣло.

— Что такое: добро зѣло?

— Все, владыко: и что намъ указано, и что отъ насъ сокрыто. Я думаю такъ, владыко, что мы всѣ на одинъ ширъ идемъ.

— Говори, сдѣлай милость, яснѣй: ты водное крещеніе-то просто-на-просто совсѣмъ отмечаешь, что ли?

— Ну вотъ: и отмечаю! Эхъ, владыко, владыко! сколько я лѣтъ томился, все ждалъ человѣка, съ которымъ бы о духовномъ свободно по духу побесѣдовать, и, узнавъ тебя, думалъ, что вотъ такого дождался; а и ты сейчасъ, какъ стряпчій, за слово емешься! Что тебѣ надо?—слово всяко ложь и я тожъ. Я ничего не отмечаю; а ты обсуди, какіе мнѣ приклады разные приходятъ,—и отъ любви, а не отъ ненависти. Яви терпѣніе,—вслушайся.

— Хорошо, отвѣчаю, буду слушать, что ты хочешь проповѣдывать.

— Ну, вот мы съ тобою крещены,—ну, это и хорошо; намъ этимъ какъ билетъ данъ на пиръ; мы и идемъ, и знаемъ, что мы званы, потому что у насъ и билетъ есть.

— Ну!

— Ну, а теперь видимъ, что рядомъ съ нами туда же бредеть человѣчекъ безъ билета. Мы думаемъ, «вотъ дурачокъ! напрасно онъ идетъ:—не пустять его! Придетъ, а его привратники вонъ выгонять». А придемъ и увидимъ: привратники-то его погонять, что билета нѣтъ, а хозяинъ увидитъ, да, можетъ-быть, и пустить велитъ,—скажетъ: «ничего, что билета нѣтъ,—я его и такъ знаю: пожалуй, входи», да и введетъ, да еще, гляди, лучше иного, который съ билетомъ пришелъ, станетъ чествовать.

— Ты, говорю, это имъ такъ и внушаешь?

— Нѣтъ; чтò имъ это внушать? это я только про себя такъ о всѣхъ разсуждаю, по Христовой доброты, да мудрости.

— Да то-то; мудрость-то Его ты понимаешь ли?

— Гдѣ, владыко, понимать! — ее не поймешь, а такъ... чтò сердце чувствуетъ, говорю. Я, когда мнѣ чтò нужно сдѣлать, сейчасъ себя въ умъ спрашиваю; можно ли это сдѣлать во славу Христову? Если можно, такъ дѣлаю, а если нельзя—того не хочу дѣлать.

— Въ этомъ, значить, твой главный катехизисъ?

— Въ этомъ, владыко, и главный, и неглавный, — весь въ этомъ; для простыхъ сердець это, владыко, куда какъ сподручно! — просто вѣдь это: водкой во славу Христову упиваться нельзя, драться и красть во славу Христову нельзя, человѣка безъ помощи бросить нельзя... И дикари это скоро понимаютъ и хвалятъ: «хорошъ, говорятъ, вашъ Христосикъ—праведный», — по-ихнему это такъ выходитъ.

— Что же... это, пожалуй, хоть и такъ—хорошо.

— Ничего, владыко,—изрядно; а вотъ чтò мнѣ нехорошо кажется: какъ придуть новокрещенцы въ городъ и видятъ все, чтò тутъ крещеные дѣлають, и спрашиваютъ: можно ли то во славу Христову дѣлать? чтò имъ отвѣчать, владыко? христiane это тутъ живутъ или нехристи? Сказать «не христи» — стыдно, назвать христianeами — грѣха страшно.

— Какъ же ты отвѣчаешь?

Кириакъ только рукой махнулъ и прошепталъ:

— Ничего не говорю, а... плачу только.

Я понял, что его релігіозная мораль попала въ столкнове-  
ніе съ своего рода «политикою». Онъ Тертуліана «О зрѣ-  
лицахъ» читалъ и вывелъ, что «во славу Христову» нельзя  
ни въ театры ходить, ни танцовать, ни въ карты играть,  
ни многого иного творить, безъ чего современные намъ,  
паружные христіане уже обходиться не умѣютъ. Онъ былъ  
своего рода новаторъ и, видя этотъ обветшавшій міръ,  
стыдился его и чаялъ новаго, полнаго духа и истины.

Какъ я ему это намекнулъ, онъ мнѣ сейчасъ и под-  
дакнулъ.

— Да, говорить, да, эти люди плотъ; — а что плотъ - то  
показывать? — се надо закрывать. Пусть хотя не хулятся  
черезъ нихъ имя Христово въ языцѣхъ.

— А зачѣмъ это къ тебѣ, говорятъ, будто инородцы и  
до сихъ поръ приходятъ?

— Вѣрятъ мнѣ и приходятъ.

— То-то; зачѣмъ?

— Поспорятъ когда или поссорятся, и идутъ:—разбери,  
говорятъ, по-христосикову.

— Ты и разбираешь?

— Да, я обычай ихъ знаю; а умъ Христовъ приложу и  
скажу, какъ быть.

— Они и примутъ?

— Примутъ: — они Его справедливость любятъ. А дру-  
гой разъ больные приходятъ или бѣсные, — просятъ помо-  
литься.

— Какъ же ты бѣсныхъ лѣчишь? отчитываешь, что ли?

— Нѣтъ, владыко; такъ помолюсь, да успокою.

— Вѣдь на это ихъ шаманы слывуть искусниками.

— Такъ, владыко:—не ровень шаманъ; иные и впрямь  
не мало тайныхъ силъ природныхъ знаютъ; ну, да вѣдь и  
шаманы ничего... Они меня знаютъ и иные сами ко мнѣ  
людей шлютъ.

— Откуда же у тебя и съ шаманами пріязнь?

— А вотъ какъ: ламы буддійскіе на нихъ гоненіе сдѣ-  
лали,—ихъ, этихъ шамановъ, тогда наши чиновники много  
въ острогъ забрали, а въ острогѣ дикому человѣку скучно:—  
съ иными Богъ вѣсть что дѣлается. Ну, я, грѣшникъ, въ  
острогъ ходилъ, калачиковъ для нихъ по купцамъ выпра-  
шивалъ и словцомъ утѣшалъ.

— Ну, и что же?



— Благодарны, берутъ Христа ради и хвалятъ Его: хорошъ, говорятъ, — добръ. Да ты молчи, владыко, они сами не чуютъ, какъ края ризы Его касаются.

— Да вѣдь какъ, говорю, касаются -то? все, вѣдь, это безъ толку!

— И, владыко! что ты все сразу такъ сунешься! Божіе дѣло своей ходой, безъ суеты идетъ. Не шесть ли водоносовъ было на пиру въ Каннѣ, а вѣдь не всѣ ихъ, чай, сразу наполнили, а одинъ за другимъ наливали; Христось, батюшка, самъ уже на что великъ чудотворецъ, а и то слѣпому жиду прежде поплевалъ на глаза, а потомъ открылъ ихъ; а эти вѣдь еще слѣпые жида. Что отъ нихъ сразу-то много требовать? Пусть за краекъ Его ризочки держатся, — доброту Его чувствуютъ, а онъ ихъ Самъ къ себѣ уволочеть.

— Ну, вотъ, уже и «уволочеть»!

— А что же?

— Да какія ты слова-то неумѣстныя употребляешь.

— А чѣмъ, владыко, неумѣстное, — слово прелпростое. Онъ, благодѣтель нашъ, вѣдь и Самъ не боярскаго рода, за простоту не судится. Родъ Его кто исповѣсть; а Онъ съ пастухами ходилъ, съ грѣшниками гулялъ и шелудивой овцой не брезговалъ, а гдѣ найдетъ ее, взвалитъ Себѣ, какъ она есть, на святые рамена и тащить къ Отцу. Ну, а Тотъ... что Ему дѣлать? — не хочетъ многострадательнаго сына огорчить, — замарашку ради Его на дворъ овчій пустить.

— Ну, говорю, хорошо; въ катехизаторы, ты, братъ Кириакъ, совсѣмъ не годишься, а въ крестители ты, хоть и еретичествоешь немножко, однако пригоденъ и, какъ себѣ хочешь, а я тебя снаряжу крестить.

Но Кириакъ ужасно взволновался и разстроился.

— Помилуй, говоритъ, владыко: къ чему тебѣ меня нудить? Да запретить тебѣ Христось это сдѣлать! И ничего изъ этого не послѣдуетъ, ничего, ничего и ничего!

— Отчего же это такъ?

— Такъ; потому что сія дверь для насъ затворена.

— Кто же ее затворилъ?

— А Тотъ, Который имѣетъ ключъ Давидовъ: «отверзай и никтоже отворитъ, затворяй и никтоже отверзетъ». Или ты Апокалипсисъ позабылъ?

— Кириакъ, говорю, многія книги безумнымъ ты творять.

— Нѣтъ, владыко, я не безуменъ, а ты меня если не послушаешь, то людей обидишь и Духа Святаго оскорбишь, и только однихъ церковныхъ приказныхъ обрадуешь, чтобы имъ въ своихъ отчетахъ больше лгать да хвастать.

Я его пересталъ слушать, однако не оставлялъ мысли современемъ его перекапризить и непременно его послать. Но что бы вы думали? — вѣдь не одинъ простосердечный ветхозавѣтный Аммосъ, собирая ягоды, вдругъ сталъ пророчествовать, — и мой Кириакъ мнѣ напророчилъ, и его слова: «да запретить тебѣ Христосъ» начали дѣйствовать. Въ это самое время я, какъ нарочно, получилъ изъ Петербурга извѣщеніе, что, по тамошнему благоусмотрѣнію, у насъ, въ Сибири, увеличивается число буддійскихъ капищъ и удваиваются штаты ламъ. Я хоть и въ русской землѣ рожденъ и пріученъ былъ не дивиться никакимъ неожиданностямъ, но, признаюсь, этотъ порядокъ *contra jus et fas* изумилъ меня, а что гораздо хуже, — онъ совсѣмъ съ толку сбивалъ бѣдныхъ новокрещенцевъ и, можетъ-быть, еще большей жалости достойныхъ миссіонеровъ. Вѣсть съ этимъ радостнымъ событіемъ, во вредъ христіанству и въ пользу буддизма, какъ вихремъ разнеслась по всему краю. Для ея распространенія скакали лошади, скакали олени, скакали собаки, и Сибирь оповѣстилась, что «все преодолевшій и все отвергшій» богъ Фо въ Петербургъ «одолѣлъ и отвергъ и Христосика». Торжествующіе ламы увѣрили, что уже все наше верховное правительство и самъ нашъ Далай Лама, то-есть митрополитъ, приняли буддійскую вѣру. Перепугались миссіонеры, извѣстясь о семъ; не знали, что имъ дѣлать; иные изъ нихъ, кажется, отчасти сомнѣвались: ужъ и впрямь не повернуло ли въ Петербургъ дѣло на ламайскую сторону, какъ оно въ то тонкое и каверзливое время поворачивало на католическую, а нынѣ, въ сію многодумную и дурашливую пору поворачиваетъ на спиритскую. Только нынче оно, разумѣется, совершается спокойно, потому что теперь кумиръ хотя и ледащенкій выбранъ, но зато теперь и противъ этого рожна прать никому не охота; а тогда еще этой хладнокровной выдержки недоставало во многихъ и, въ числѣ прочихъ, во мнѣ грѣшномъ. Я не могъ равнодушно смотрѣть на моихъ бѣдныхъ крестителей, которые *тышikomъ* плелись изъ степей ко мнѣ подъ защиту. Имъ однимъ по всему краю не было ни ло-

шадиной клячи, ни оленя, ни собаки, и они, Богъ ихъ знаетъ какъ, лѣзли пѣшіе по сугробамъ и пришли оборванные, обмаранные, истинно уже не какъ іерей Бога вышняго, а какъ настоящіе калѣки-перехожіе. Чиновники и заурядъ все управленіе, безъ зазрѣнія совѣсти, покровительствовали ламамъ. Мнѣ приходилось сражаться съ губернаторомъ, чтобы сей христіанскій бояринъ хотя малость остепенялъ своихъ пособниковъ, дабы они, по крайней мѣрѣ, не совсѣмъ открыто радѣли буддизму. Губернаторъ, какъ водится, обижался, и у насъ съ нимъ закипѣла жестокая стычка: я ему на его чиновниковъ жалуясь, — онъ мнѣ на моихъ миссіонеровъ пишетъ, что «никто - де имъ не мѣшаетъ, а они-де сами лѣнныя и неискусныя». А мои дерзгировавшіе миссіонеры, въ свою очередь, пишутъ, что имъ хотя, точно, рты тряпками не затыкаютъ, но нигдѣ ни лошадей, ни оленей не даютъ, потому что по степямъ всюду всѣ люди ламъ боятся.

— Ламы, говорятъ, богаты, — они чиновниковъ деньгами дарятъ, а намъ дарить нечѣмъ.

Что же мнѣ было можно имъ въ утѣшеніе сказать? Синоду, что ли, обѣщать представить, чтобы лавры и монастыри, имѣя «деньги многи», подѣлились съ нашею бѣдностію и какую-нибудь сумму на взятки приказнымъ отпустили, но боялся, что въ большихъ залахъ въ синодѣ это, чего добраго, за неумѣстное сочтутъ и, помолясь Богу, во вспомоществованіе на взятки мнѣ откажутъ, пожалуй. А къ тому же еще и это средство въ нашихъ рукахъ могло быть ненадежно: апостолы мои въ самихъ себѣ такую слабость мнѣ открыли, которая, въ связи съ обстоятельствами, получала очень важное значеніе.

— Насъ, говорятъ, за дикарей жалость беретъ; изъ нихъ съ этой возней совсѣмъ послѣдній толкъ выбьютъ; нынче мы ихъ крестимъ, завтра ламы его обращаютъ и велятъ Христа порицать, а за штрафъ все, что попало, у нихъ берутъ. Обнищаетъ бѣдный народъ и въ скотѣ, и въ своемъ скудномъ разумѣ, — всѣ вѣры перепуталъ и на всѣ колѣна хромаетъ, а на насъ плачется.

Киріакъ эту борьбою очень интересовался и, пользуясь моимъ расположеніемъ, не разъ останавливалъ меня вопросами:

— Что тебѣ, владыко, вражки ищутъ? или:

— Что ты, владыко, вражкамъ написать?

Разъ даже онъ явился ко мнѣ съ просьбою:

— Посовѣтуйся со мною, владыко, какъ будешь вражкамъ писать?

Это было по случаю тому, что губернаторъ мнѣ ставилъ на видъ, что въ сосѣдней епархіи, при тѣхъ же обстоятельствахъ, въ какихъ я находился, проповѣдь и крещеніе совершаются успѣшно, причемъ указывалъ мнѣ на какого-то миссіонера Петра, изъ зырялъ, который цѣлыми массами крестить инородцевъ.

Такое обстоятельство меня смутило, и я спросилъ сосѣдняго архіерея: такъ ли это?

Тотъ отвѣчалъ, что, дѣйствительно, у него есть зырянинъ, попъ Петръ, который два раза ѣздилъ на проповѣдь и въ первый разъ «все кресты раскрестилъ», а во второй вдвое больше крестовъ взял и опять недостало,—съ одного на другого на шею перевѣшивалъ.

Кириакъ, какъ это слышалъ, такъ и всплакался.

— Боже мой,—говоритъ, откуда еще ко всемъ бѣдамъ пришелъ сюда сей коварный строитель? Онъ Христа въ Его же церкви да Его же кровью затопить! Охъ, бѣда! помилосѣрдуй, владыко,—проси скорѣе архіерея, чтобы онъ унялъ своего слугу вѣрнаго,—оставилъ бы въ церкви силъ хоть на сѣмена.

— Ты, говорю, отецъ Кириакъ, вздоръ говоришь; могу ли я отъ столь хвальной ревности человѣка удерживать?

— Ахъ, нѣтъ, молитъ, владыко, проси; вѣдь это тебѣ непонятно, а я такъ знаю, что, значитъ, теперь тамъ въ стѣняхъ дѣлается. Это все не Христу, а вражкамъ его служба тамъ идетъ. Зальютъ, зальютъ они Его, голубчика, кровью и на сто лишникъ лѣтъ отъ Него народъ отпугаютъ.

Я, разумѣется, Кириака не послушалъ, а напротивъ—написать къ сосѣднему архіерею, чтобы онъ далъ мнѣ своего зырянина на поддержаніе, или, какъ сибирскіе аристократы по-французски говорятъ: «о прока». Сосѣдь мой архіерей въ это время уже, отбывъ сибирскую энтимью, перемѣщался въ Россію и не постоялъ за своего досужаго крестителя. Зырянинъ былъ мнѣ присланъ: такой большебородый, словоохотливый и, что называется, весь до дна маслякъ. Я его сейчасъ же отправилъ въ стѣнь, а недѣли черезъ двѣ отъ него уже и радостныя вѣсти имѣлъ: доно-

силъ онъ мнѣ, что крестить народъ на всѣ стороны. Одного онъ опасался: достанетъ ли у него крестовъ, которыхъ забралъ съ собою весьма изрядную коробку? Изъ сего я, не ошибаясь, могъ заключить, что уловъ въ мережи сего счастливаго ловца попадаетъ чрезвычайно обильный.

Вотъ, думаю, когда я досталъ себѣ, наконецъ, къ этому дѣлу настоящаго мастера! И очень былъ этому радъ. да и какъ радъ-то! Откровенно скажу вамъ,—съ самой казенной точки зрѣнія,—потому что... и архіерей вѣдь тоже, господа, человѣкъ, и ему надокучить, когда одна власть пристаётъ: «крести», а другая — «пусти»... Ну, ихъ совѣмъ! скорѣй какъ-нибудь кончить въ одну сторону, и какъ попался ловкій креститель, такъ пусть уже заурядъ все крестигъ, авось, и людямъ спокойнѣе станетъ.

Но Кириакъ не раздѣлялъ моего взгляда, и разъ иду я вечеромъ черезъ дворъ изъ бани и встрѣчаю его; онъ остановился и привѣтствуетъ меня:

— Здравствуй, владыко!

— Здравствуй. говорю, отецъ Кириакъ.

— Хорошо ли вымылся?

— Хорошо.

— А зырянна-то отмылъ ли?

Я разсердился.

— Это, говорю, что за глупость?

А онъ опять про зырянна.

— Онъ безжалостный, говорить, — онъ и у насъ теперь такъ крестить, какъ за Байкаломъ крестили: его крестниковъ черезъ это только мучаютъ, а они на Христа, батюшку, плачутся. Грѣхъ всѣмъ вамъ, а тебѣ больше всѣхъ грѣхъ, владыко!

Я Кириака счелъ за грубіапа, но слова-то его мнѣ все-таки въ душу запали. Что въ самомъ дѣлѣ? онъ, вѣдь, старикъ основательный. — на вѣтеръ болтать не станетъ: въ чемъ же тутъ секретъ? — какъ, въ самомъ дѣлѣ, взятый мною «о прока» досужій зырянникъ крестить? Я имѣлъ понятіе о религіозности зырянъ; они по преимуществу храмоздатель, — церкви у нихъ повсюду отличныя и даже богатыя, но изъ всѣхъ глаголемыхъ христіанъ на свѣтѣ они, должно сознаться, самые виѣшніе. Ни къ кому столько, какъ къ нимъ, не идетъ опредѣленіе, что у нихъ «Богъ въ однихъ лишь образахъ, а не въ убѣжденіяхъ человѣка»: но,

вѣдь, не жжетъ же этотъ зыряннинъ дикарей огнемъ, чтобы они крестились? Быть этого не можетъ! Въ чемъ же тутъ дѣло? отчего зыряннинъ успѣваетъ, а русскіе не умѣютъ, и отчего я этого б-сю пору не знаю?

— А все оттого, владыко,—пришло мнѣ на мысль,—что ты и тебѣ подобные себялюбивы да важны: «деньги многи» собираете, да только подъ колокольнымъ звономъ развѣзжаете, а про дальнія мѣста своей паствы мало думаете и о нихъ по слухамъ судите. На безсиліе свое на родной землѣ нарекаете, а сами все звѣзды хватать норовите, да вопрошаете: «что ми хотите данн, да азъ вамъ предамъ?» Берегись-ка, братъ, какъ бы и ты не таковъ же сталъ?

И ходилъ я, ходилъ этотъ вечеръ съ своею думою по моей пустой скучной залѣ, и до тѣхъ поръ доходился, пока вдругъ мнѣ пришла въ голову мысль: пробѣжать самому пустыню.

Такимъ образомъ я надѣялся уяснить себѣ, если не все, то, по крайней мѣрѣ, очень многое. Да, признаюсь вамъ, и освѣжиться хотѣлось.

Для совершенія этого пути мнѣ, при моей неопытности, нуженъ былъ товарищъ, который хорошо бы зналъ инородческій языкъ; но какого же товарища лучше желать, какъ Киріака? И, не откладывая этого по своей нетерпѣливости въ долгій ящикъ, я призвалъ Киріака къ себѣ, открылъ ему свой планъ и велѣлъ собираться.

Онъ не противорѣчилъ, а, напротивъ, казалось, былъ даже очень радъ и, улыбаясь, повторялъ:

— Богъ въ помощь! Богъ въ помощь!

Откладывать было незачѣмъ, и мы на другое же утро ранымъ-рано отпѣли обѣденку, одѣлись оба по-туземному и выѣхали, держа путь къ самому сѣверу, гдѣ мой зыряннинъ апостольствовалъ.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Лишь прокатили мы первый день на доброй тройкѣ и все бесѣдовали съ отцомъ Киріакомъ. Любезный старикъ рассказывалъ мнѣ интересныя исторіи изъ инородческихъ религіозныхъ преданій, изъ коихъ меня особенно занимала повѣсть о пятистахъ путешественникахъ, которые, подъ руководствомъ одного книжника, по-ихнему—«обушія», пустились путешествовать по землѣ въ то еще время, когда «побѣдившій силу бѣсовскую и отринувшій всѣ елабости»

богъ Шигемунн гостепріимствовалъ «непочатыми яствами» въ Ширвасѣ. Повѣсть эта тѣмъ интересна, что въ ней чувствуется весь складъ и духъ религіозной фантазіи этого народа. Пятьсотъ путниковъ, предводимые обушіемъ, встрѣчаютъ духа, который, чтобы устроить ихъ, принимаетъ самый ужасный и отвратительный видъ и спрашиваетъ: «есть ли у васъ такія чудовища?»—«Есть гораздо страшнѣе», отвѣчалъ обушій.—«Кто же они?»—«Всѣ тѣ, которые завистливы, жадны, лживы и мстительны; они, по смерти, становятся чудовищами гораздо тебя страшнѣе и гаже». Духъ скрылся и, превратясь гдѣ-то въ человѣка, такого сухого и тощаго, что даже жилы его пристали къ костямъ, опять появился предъ путниками и говоритъ: «Есть ли у васъ такіе люди?»—«Какъ же, отвѣчаетъ обушій, гораздо суше тебя есть,—таковы всѣ, любящіе почести».

— Гм!—перебилъ я Кириака:—это, говорю, смотри, уже не на насъ ли, архіереевъ, мораль пущена?

— А Богъ вѣсть, владыко,—и продолжаетъ:—По нѣкоторомъ времени духъ явился въ видѣ прекраснаго юноши и говоритъ: «А вотъ такіе у васъ есть ли?»—Какъ же, отвѣчаетъ обушій,—между людьми есть несравненно тебя прекраснѣе,—это тѣ, которые имѣютъ острое понятіе и, очистивъ свои чувства, благоговѣютъ къ тремъ изяществамъ: Богу, вѣрѣ и святости. Сія столь тебя красивѣе, что ты предъ ними никуда не годишься». Духъ разсердился и сталъ экзаменовать обушія другими манерами. Онъ зачерпнулъ въ горсть воды:—«Гдѣ, говоритъ, больше воды: въ морѣ или въ горсти?»—«Въ горсти болѣе», отвѣчалъ обушій.—«Докажи».—«Ну, и докажу: по видимому суди, кажется въ морѣ, дѣйствительно, болѣе воды, чѣмъ въ горсти, но когда придетъ время разрушенія міра и изъ нынѣшняго солнца выступитъ другое, огнепалющее, то оно иссушитъ на землѣ всѣ воды,—и большія, и малыя: и моря, и ручьи, и потоки, и сама Сумберъ - гора (Атласъ) разсыплется; а кто при жизни наполнилъ своею горстью уста жаждущаго или обмылъ своею рукою раны нищаго, того горсть воды семь солнць не иссушатъ, а напротивъ того, будутъ только ее расширять и тѣмъ самымъ увеличивать»...—Право, какъ вы хотите, а вѣдь это не совѣмъ глупо, господа?—вопросилъ, пріостановясь на минуту, рассказчикъ,—а? Нѣтъ, взаправду, какъ вы это находите?

— Очень не глупо, совсѣмъ не глупо, владыко.

— Признаюсь вамъ, и мнѣ это показалось, пожалуй, толковѣе иной протяженной проповѣди объ оправданіи... Ну, впрочемъ, не все объ этомъ. Потомъ повели мы долгія бесѣды о томъ, какой способъ надо предпочесть всѣмъ другимъ для обращенія дикарей въ христіанство. Кириакъ находилъ, что съ ними надо какъ можно меньше обрядничать, потому что они иначе самого Кирика съ его вопросами превзойдутъ о томъ: можно ли того причащать, кто яйцомъ въ зубы постучить; да не надо много и догматизировать, потому что ихъ слабый умъ устаетъ слѣдить за всякою отвлеченностью и силлогизаціею, а надо имъ просто рассказывать о жизни и о чудесахъ Христа, чтобы это представлялось имъ какъ можно живообразнѣе и чтобы ихъ бѣдной фантазіи было за что цѣпляться. Но главное: все на то напиралъ, что «кто премудръ и художъ, тотъ пусть покажетъ имъ отъ своего житія добраго,—тогда они и Христа поймутъ, а иначе, говорить, плохо наше дѣло, и истинная наша вѣра, хоть мы ее промежъ нихъ и наречемъ, то будетъ она у нихъ подъ началомъ у неистинной: наша будетъ нареченная, а та дѣйствующая,—что въ томъ добра-то, владыко? Посуди: къ торжеству Христовой вѣры это будетъ, или къ ея униженію? А еще того горше, какъ отъ нашего что возьмутъ, да не знать, что изъ него сдѣлають. Нечего спѣшить нарекать, а надо насаждать; другіе придутъ—будутъ поливать, а возраститъ самъ Богъ... Не такъ ли, владыко, апостоль-то училъ, а? Вспомни его, должно-быть, такъ; а то, гляди, какъ бы не посиѣшить, да людей не насмѣшить и сатану не порадовать».

Я, по правдѣ сказать, внутренно во многомъ съ нимъ соглашался и не замѣтилъ, какъ въ простыхъ и мирныхъ съ нимъ разговорахъ провелъ весь день до вечера; а съ тѣмъ и нашъ конный путь кончился.

Переночевали мы съ нимъ у огонька въ юртѣ и на другое утро покатали на оленяхъ.

Погода стояла чудесная и ѣзда на оленяхъ очень меня занимала, хотя она, однако, не совсѣмъ отвѣчала мнѣ о ней представленіямъ. Въ дѣтствѣ моемъ я очень любилъ смотрѣть на картинку, гдѣ былъ представленъ лапландецъ на оленяхъ. Но тѣ олени, на картинкѣ, были легкіе, быстроногіе, какъ вихри степные неслись, закинувъ назадъ



головы съ вѣгвистыми рогами, и я, бывало, все думалъ: эхъ, кабы хоть разъ такъ прокатиться! Какая это, должно-быть, пріятная быстрота при такой скачкѣ! А на дѣлѣ же оно выходило не такъ: передо мною были совсѣмъ не тѣ уносистые, рогатые вихри, а камолые, тяжеловатые увальни съ понурыми головами и мясистыми, разлатыми лапами. Вѣжали они побѣжкой нетвердою и неровною, склонивъ головы, и съ такою задышкою, что инда съ непривычки жалость брала на нихъ смотрѣть, особливо какъ у нихъ ноздри замерзли и они рты поразинули. Такъ тяжело дышать, что это густое дыханіе ихъ собирается облакомъ и такъ и стоитъ въ морозномъ воздухѣ полосою. И эта ѣзда, и грустное однообразіе пустынныхъ картинъ, которыя при ней открываются, производятъ такое скучное впечатлѣніе, что даже говорить не хочется, и мы съ Киріакомъ, ѣдучи два дня на оленяхъ, почти ни о чемъ и не бесѣдовали.

На третій день къ вечеру и этотъ путь прекратился: снѣга стали рыхлые, и мы замѣнили нескладныхъ оленей собаками — такія сѣренькія, мохнатая и востроухія, какъ волчки, и по-волчьи почти и тявкаютъ. Запрягаютъ ихъ помногу, штукъ по пятнадцати, а почетному путнику, по-жалуй, и больше зацѣпять, но салазки такія узенькія, что двоимъ рядомъ сидѣть невозможно. и мы съ отцомъ Киріакомъ должны были раздѣлиться: на однѣхъ приходилось ѣхать мнѣ съ проводникомъ, а на другихъ — Киріаку съ другимъ проводникомъ. Проводники оба казались равнаго достоинства, да и съ обличья ихъ одного отъ другого даже и не отличишь, особенно какъ своими малицами закутываются, — точно банные обмылки: что одинъ, что другой — въ обихъ одна красота. Но Киріакъ нашелъ въ нихъ разницу и непремѣнно настаивалъ, чтобы усадить меня съ тѣмъ, который казался ему надежнѣе; а въ чемъ онъ видѣлъ эту надежность — не объяснилъ.

— Такъ, говорить, владыко: ты въ этомъ краѣ неопытнѣе меня, такъ ты съ этимъ поѣзжай. — За это я его не послушалъ и сѣлъ съ другимъ. Поклажу свою мы раздѣлили: я взялъ собѣ въ ноги узелокъ съ бѣльемъ да съ книгами, а Киріакъ надѣлъ на себя мурницу и дароносицу, да взялъ въ ноги кошель съ толокномъ, сухой рыбкой и прочей нашей незатѣйливой походной провизіей.

Усѣлись мы такъ, подоткнулись малицами, сверху по кольнамъ оленьими кожами застегнулись и поскакали.

Бзда эта была гораздо быстрѣе, чѣмъ на оленяхъ, но зато сидѣть такъ худо, что у меня съ непривычки черезъ часъ же страшно спину разломило. Погляжу на Кириака— онъ сидитъ какъ воткнутый столбушекъ, а я такъ и вихляюсь по сторонамъ,—все балансъ хочу удержать, и за этой гимнастикой даже не могъ и поговорить съ моимъ проводникомъ. Узналъ только, что онъ крещеный и окрещенъ недавно моимъ зырянникомъ, а позкзаменовать его не успѣлъ. Къ вечеру я такъ измучился, что совсѣмъ держаться не могъ и пожаловался Кириаку.

— Плохо, говорю: меня что-то сразу уже очень распатало.

— А все это оттого, отвѣчаетъ, что ты меня не слушалъ, — не съ тѣмъ ѣдешь, съ которымъ я тебя сажалъ: этотъ лучше править, покойнѣе. Яви ласку: пересядь завтра.

— Хорошо, говорю, изволь, пересяду, — и точно, пересѣлъ и опять ѣдемъ.

Не знаю: понавыкъ ли я за прошлый день держаться на этихъ рожнахъ, или, дѣйствительно, этотъ проводникъ лучше своимъ орстелемъ править, только мнѣ спокойнѣе ѣхалось, такъ что я даже могъ и побесѣдовать.

Спрашиваю его: крещеный онъ или нѣтъ?

— Нѣтъ, отвѣчаетъ, бачка, моя некрещена, моя счастливая.

— Чѣмъ же ты такъ счастливъ?

— Счастливая, бачка; меня, бачка, Дзоль-Дзаягачи дала, бачка. Она меня, бачка, бержетъ.

Дзоль-Дзаягачи у шаманистовъ такая богиня, дарующая дѣтей и пекущаяся будто бы о счастіи и здоровьѣ тѣхъ, которыя у нея вымолены.

— Такъ что же, говорю, а почему же не креститься-то?

— А она, бачка, меня не даетъ крестить.

— Кто это? Дзоль-Дзаягачи?

— Да, бачка, не даетъ.

— Ага, ну, хорошо, что ты мнѣ это сказалъ.

— Какъ же, бачка, хорошо?

— Да вотъ я тебя за это, на зло твоей Дзоль-Дзаягачи, и велю окрестить.

— Что ты, бачка? зачѣмъ Дзоль-Дзаягачи сердить? — она разсердится, — дуть станетъ.

— Очень она миѣ нужна, твоя Дзолъ-Дзаягачи: окрещу, да и баста.

— Нѣтъ, бачка, она не дастъ обижать.

— Да какая тебѣ, глупому, въ этомъ обида?

— Какъ же, бачка, меня крестить? — миѣ много обида, бачка: зайсанъ придетъ — меня крещенаго бить будетъ, шаманъ придетъ — опять бить будетъ, лама придетъ — тоже бить будетъ и олешковъ сгонитъ. Большая, бачка, обида будетъ.

— Не смѣютъ они этого дѣлать.

— Какъ, бачка, не смѣютъ? смѣютъ, бачка, все возьмутъ; у меня дядю, бачка, уже разорили... Какъ же, бачка, разорили и брата, бачка, разорили.

— Развѣ у тебя есть братъ крещеный?

— Какъ же, бачка, есть братъ, бачка, есть.

— И онъ крещеный?

— Какъ же, бачка, крещеный, два раза крещеный.

— Что такое? два раза крещеный? Развѣ по два раза крестятъ?

— Какъ же, бачка, крестятъ.

— Врешь!

— Нѣтъ, бачка, вѣрно: онъ одинъ разъ за себя крестился, а одинъ разъ, бачка, за меня.

— Какъ за тебя? Что ты это за вздоръ миѣ рассказываешь?

— Какой, бачка, вздоръ! — не вздоръ: я, бачка, отъ попа спрятался, а братъ за меня крестился.

— Для чего же вы такъ смощеничали?

— Потому, бачка, что онъ добрый.

— Кто это: братъ-то твой, что ли?

— Да, бачка, братъ. Онъ сказалъ: «я все равно уже пропасть, — окрещень, а ты спрячься, — я еще окрещусь»; я и спрятался.

— И гдѣ же онъ теперь, твой братъ?

— Опять, бачка, креститься побѣжалъ.

— Куда же этого его, бездѣльника, понесло?

— А туда, бачка, гдѣ нынѣ, слышать, твердый попь ѣздитъ.

— Ишь ты! Что же ему до этого попа за дѣло?

— А свои у насъ тамъ, бачка, свои люди живутъ, хорошіе, бачка, люди; какъ же? ему, бачка, жаль... онъ ихъ жалѣетъ, бачка, — за нихъ креститься побѣжалъ.

— Да что же это за шайтанъ, этотъ твой братъ? Какъ онъ это смѣетъ дѣлать?

— А что, бачка? ничего: ему, бачка, ужъ все равно, а тѣхъ, бачка, зайсанъ бить не будетъ и лама оленковъ не сгонитъ.

— Гм! надо, однако, твоего досужаго брата на примѣту взять. Скажи-ка мнѣ, какъ его зовутъ?

— Куська-Демякъ, бачка.

— Кузьма или Демьянъ?

— Нѣтъ, бачка, — Куська-Демякъ.

— Да; по-твоему чпще, — Куська-Демякъ или мѣди пятакъ, — только это два имени.

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Я тебѣ говорю — два!

— Нѣтъ, бачка, одно.

— Ну, тебѣ, видно, и это лучше знать.

— Какъ же, бачка, мнѣ лучше.

— Но это его Кузьмой и Демьяномъ при первомъ или при второмъ крещеніи назвали?

Вылупился и не понимаетъ; но, когда я ему повторилъ, онъ подумалъ и отвѣтилъ:

— Такъ, бачка: это какъ онъ за меня крестился, тогда его стали Куська-Демякъ дразнить.

— Ну, а послѣ перваго-то крещенія вы какъ его дразнили?

— Не знаю, бачка, — забылъ.

— Но онъ-то, чай, это знаетъ?

— Нѣтъ, бачка, и онъ позабылъ.

— Быть, говорю, этого не можетъ!

— Нѣтъ, бачка, — вѣрно, позабылъ.

— А вотъ я его велю разыскать и разспрошу.

— Разыщи, бачка, разыщи; и онъ скажетъ, что позабылъ.

— Да только уже я его, братъ, какъ разыщу, такъ самъ зайсану отдамъ.

— Ничего, бачка; ему теперь, бачка, никто ничего, — онъ пропащій.

— Черезъ что же это онъ пропащій-то? Черезъ то, что окрестился, что ли?

— Да, бачка; его шаманъ гонитъ, у него лама оленки забралъ, ему свой никто не вѣритъ.

— Отчего не вѣритъ?

— Нельзя, бачка, крещеному вѣрить,—никто не вѣрить.  
— Что ты, дикій глупецъ, врешь! Отчего нельзя крещеному вѣрить? Развѣ крещеный васъ, идолопоклонниковъ, хуже?

— Отчего, бачка, хуже?—одинъ человѣкъ.

— Вотъ видишь, и самъ согласенъ, что не хуже?

— Не знаю, бачка, — ты говоришь, что не хуже, и я говорю; а вѣрить нельзя.

— Почему же ему нельзя вѣрить?

— Потому, бачка, что ему попъ грѣхъ прощаетъ.

— Ну, такъ что же тутъ худого? неужто же лучше безъ прощенія оставаться?

— Какъ можно, бачка, безъ прощенія оставаться! Это нельзя, бачка. Надо прошенье просить.

— Ну, такъ я же тебя не понимаю: о чемъ ты толкуешь?

— Такъ, бачка, говорю: крещеный своруетъ, попу скажетъ, а попъ его, бачка, проститъ; онъ и невѣрный. бачка, черезъ это у людей станеть.

— Ишь ты какой вздоръ несешь! А по-твоему это, небось, не годится?

— Этакъ, бачка, не годится у насъ, не годится.

— А по-вашему какъ бы надо?

— Такъ, бачка: у кого укралъ, тому назадъ принеси и проститъ проси; человѣкъ проститъ и Богъ проститъ.

— Да, вѣдь, и попъ человѣкъ: отчего же онъ не можетъ проститъ.

— Отчего же, бачка, не можетъ проститъ?—и попъ можетъ. Кто у попа укралъ, того, бачка, и попъ можетъ проститъ?

— А если у другого укралъ, такъ онъ не можетъ проститъ?

— Какъ же, бачка? — нельзя, бачка: неправда, бачка, будетъ; невѣрный человѣкъ, бачка, вездѣ пойдетъ.

Ахъ, ты, думаю, чучело этакое неумытое, какія себѣ построенія настроилъ!—и спрашиваю далѣе:

— А ты про Господа Иисуса Христа - то что -нибудь слыхаль?

— Какъ же, бачка,—слыхаль.

— Что же ты про Него слыхаль?

— По водѣ, бачка, ходилъ.

— Гм! ну, хорошо—ходилъ; а еще что?

— Свиною, бачка, въ морѣ топилъ.

— А болѣе сего?

— Ничего, бачка,—хорошъ, жалостливъ, бачка, былъ.

— Ну, какъ же жалостливъ? Чтò онъ дѣлалъ?

— Слѣпому на глаза, бачка, плевалъ, — слѣпой видѣлъ; хлѣбца и рыбка народца кормилъ.

— Однако, ты, братъ, много знаешь.

— Какъ же, бачка,—много знаю.

— Кто же тебѣ все это рассказалъ?

— А люди, бачка, говорятъ.

— Ваши люди?

— Люди-то? Какъ же, бачка,—ваши, наши.

— А они отъ кого слышали?

— Не знаю, бачка.

— Ну, а не знаешь ли ты, зачѣмъ Христосъ сюда на землю приходилъ?

Думалъ онъ, думалъ,—и ничего не отвѣтилъ.

— Не знаешь? говорю.

— Не знаю.

Я ему все православіе и объяснилъ, а онъ не то слушаетъ, не то нѣтъ, а самъ все на собакъ погикиваетъ, да орстелемъ машеть.

— Ну, понялъ ли, спрашиваю, чтò я тебѣ говорилъ?

— Какъ же, бачка, понялъ: свинью въ морѣ топилъ, слѣпому на глаза плевалъ, — слѣпой видѣлъ, хлѣбца-рыбка народца далъ.

Засѣли ему въ лобъ эти свиньи въ морѣ, слѣпой да рыбка, а дальше никакъ и не поднимется... И припомнились мнѣ Киріаковы слова о ихъ жалкомъ умѣ и о томъ, что они сами не замѣчаютъ, какъ края ризы касаются. Что же? и этотъ, пожалуй, крайка коснулся, но ужъ именно только коснулся, — чуть-чуть дотронулся; но какъ бы ему болѣе дать за него ухватиться? И вотъ я и попробовалъ съ нимъ какъ можно проще побесѣдовать о благѣ Христова примѣра и о цѣли Его страданія, — но мой слушатель все одинаково невозмутимо орстелемъ помахиваетъ. Трудно мнѣ было себя обольщать: вижу, что онъ ничего не понимаетъ.

— Ничего, спрашиваю, не понялъ?

— Ничего, бачка, — все правду врешь; жаль Его: Онъ хорошъ, Христосикъ.

— Хорошъ?

— Хорошъ, бачка, не надо Его обижать.

— Вотъ ты бы Его и любишь.

— Какъ, бачка, Его не любить?

— Что? ты можешь Его любить?

— Какъ же, бачка,—я, бачка, Его и всегда люблю.

— Ну, вотъ и молодець.

— Спасибо, бачка.

— Теперь, значить, тебѣ остается креститься: Онъ и тебя спасетъ.

Дикарь молчить.

— Что же, говорю, пріятель: что ты замолчалъ?

— Нѣтъ, бачка.

— Что такое «нѣтъ, бачка»?

— Не спасетъ, бачка; за Него зайсанъ бьетъ, шаманъ бьетъ, лама олешковъ сгонить.

— Да; вотъ главная бѣда!

— Бѣда, бачка.

— А ты и бѣду потерпи за Христа.

— На что, бачка, — Онъ, бачка, жалостливый: какъ ядохнуть буду, Ему Самому меня жаль станетъ. На что Его обижать!

Хотѣлъ-было сказать ему, что если онъ вѣрить, что Христось его пожалѣетъ, то пусть вѣрить, что Онъ же его можетъ и спасти,—но воздержался, чтобы опять про зайсана да про ламу не слушать. Ясно, что Христось у этого человѣка былъ въ числѣ его добрыхъ и даже самыхъ добрыхъ божествъ, да только не изъ сильныхъ: добръ, да не силенъ,—не заступается,—ни отъ зайсана, ни отъ лamy не защищаетъ. Что же тутъ дѣлать? какъ дикаря переувѣрить въ этомъ, когда Христову сторону поддержать не съ кѣмъ, а для той много подпоръ? Католическій проповѣдникъ въ такомъ случаѣ схитрилъ бы, какъ они въ Китаѣ хитрили: положилъ бы Буддѣ къ ногамъ крестикъ, да и кланялся и, ассимилировавъ и Христа, и Будду, кичился бы успѣхомъ; а другой новаторъ толковалъ бы такого Христа, что въ Него и вѣрить нечего, а только... думай о Немъ благопрістойно и—хорошъ будешь. Но тутъ и это трудно: чѣмъ этотъ мой молодець станетъ раздумывать, когда у него вся думалка комомъ смерзлась и ему ее оттаять негдѣ.

Припомнилось мнѣ, какъ Карль Эккартсгаузенъ превосходно, въ самыхъ простыхъ сравненіяхъ, умѣлъ пред-

ставлять простымъ людямъ великость жертвы Христова пришествія на землю, сравнивая это, какъ бы кто изъ свободныхъ людей, по любви къ заключеннымъ злодѣямъ, самъ съ ними заключался, чтобы терпѣть ихъ злонравіе. Очень просто и хорошо; но вѣдь у моего слушателя, благодаря обстоятельствамъ, нѣтъ большихъ злодѣевъ, какъ тѣ, отъ кого онъ бѣгаетъ изъ страха, чтобы его не окрестили; нѣтъ у него такого мѣста, которое могло бы произвести ужасъ въ сравненіи съ страшнымъ мѣстомъ его всегдашняго обитанія... Ничего съ нимъ не подѣлаешь,—ни Масильономъ, ни Бурдалу, ни Экартсгаузенемъ. Вонъ онъ тебѣ тычетъ орстелемъ въ снѣгъ да помахиваетъ, рожа обмылкомъ—ничего не выражаетъ; въ глядѣлкахъ, которыя стыдъ глазами звать,—ни въ одномъ ни искры душевнаго свѣта; самые звуки словъ, выходящихъ изъ его гортани, какіе-то мертвые: въ горѣ ли, въ радости ли—все одно произношеніе, вялое и безстрастное,—половину слова гдѣ-то въ глоткѣ выговорить, половину въ зубахъ сожметъ. Гдѣ ему съ этими средствами искать отвлеченныхъ истинъ и что ему въ нихъ? Они ему бремя: ему надо вымирать со всѣмъ родомъ своимъ, какъ вымерли ацтеки, вымираютъ индѣйцы... Ужасный законъ! Какое счастье, что онъ его не знаетъ,—и знай тычетъ себѣ орстелемъ,—тычетъ направо, тычетъ налѣво; не знаетъ, куда меня мчить, зачѣмъ мчить и зачѣмъ, какъ дитя простой душою, открываетъ мнѣ, во вредъ себѣ, свои завѣтныя тайны... Маль весь талантъ его и... благо ему: мало съ него спросится... А онъ все несется, несется въ безбрежную даль, и машетъ своимъ орстелемъ, который, мигая передъ моими глазами, началъ дѣйствовать на меня, какъ маятникъ. Меня замаячило; эти мѣрные взмахи, какъ магнетизерскіе пассы, меня путали сонною сѣтью; подъ темя тѣснилась дрема, и я тихо и сладко уснулъ,—уснулъ для того, чтобы проснуться въ положеніи, отъ котораго да сохранить Господь всякую душу живую!

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Я спалъ очень крѣпко и, вѣроятно, довольно долго, но вдругъ мнѣ показалось, что меня какъ будто что-то толкнуло и я сижу, накренаюсь на бокъ. Я въ полуснѣ еще хотѣлъ поправиться, но вижу, что меня опять кто-то по-



шатнуть назадъ; а вокругъ все воетъ... Что такое? Хочу посмотрѣть, но нечѣмъ смотрѣть,—глаза не открываются. Зову своего дикаря.

— Эй, ты, пріятель! гдѣ ты?

А онъ на самое ухо кричитъ мнѣ:

— Прочкнись, бачка,—прочкнись скорѣй! застынешь!

— Да что это я, говорю, не могу глазъ открыть?

— Сейчасъ, бачка, откроешь.

И съ этими словами—что бы вы думали?—взялъ да мнѣ въ глаза и плюнулъ, и ну своимъ оленьимъ рукавомъ тереть.

— Что ты дѣлаешь?

— Глаза тебѣ, бачка, протираю.

— Пошелъ ты, дуракъ...

— Нѣтъ, погоди, бачка,—не я дуракъ, а ты сейчасъ глядѣть станешь.

И точно, какъ онъ провелъ мнѣ своимъ оленьимъ рукавомъ по лицу, мои смерзшіяся вѣки оттаяли и открылись. Но для чего? что было видѣть? Я не знаю, можетъ ли быть страшнѣе въ аду: вокругъ мгла была непроницаемая, непроглядная темъ—и вся она была, какъ живая: она тряслась и дрожала, какъ чудовище,—сплошная масса льдистой пыли была его тѣло, останавливающей жизнь холодъ—его дыханіе. Да, это была смерть въ одномъ изъ самыхъ грозныхъ своихъ явленій и, встрѣтись съ ней лицомъ къ лицу, я ужаснулся.

Все, что я могъ проговорить, это былъ вопросъ о Кириакѣ,—гдѣ онъ? Но говорить было такъ трудно, что дикарь ничего не слышалъ. Тутъ я замѣтилъ, что онъ, говоря мнѣ, нагибался и кричалъ мнѣ подѣ трехъ въ самое ухо, и самъ и подѣ трехъ ему закричалъ:

— А гдѣ наши другія сани?

— Не знаю, бачка,—насъ разбило.

— Какъ разбило?

— Разбило, бачка.

Я хотѣлъ этому не вѣрить; хотѣлъ оглянуться, но никуда, ни въ одну сторону не видать ничего: кругомъ адъ темный и кромѣшный. Подѣ самымъ моимъ бокомъ у саней что-то копошилось, какъ клубъ, но не было никакихъ средствъ видѣть, что это такое. Спрашиваю дикаря, что это. Тотъ отвѣчаетъ:

— А это, бачка, собачки спутались,—грѣются.

И вслѣдъ затѣмъ онъ сдѣлалъ въ этой тѣмѣ какое-то движеніе и говоритъ:

— Падай, бачка!

— Куда падать?

— Вотъ сюда, бачка,—въ снѣгъ падай.

— Погоди, говорю.

Мнѣ еще не вѣрилось, что я потерялъ своего Кириака, и я привсталъ изъ саней и хотѣлъ позвать его, но меня въ то же мгновеніе и сразу же задушило, точно какъ заткнуло всего этою ледяною пылью, и я повалился въ снѣгъ, причемъ довольно больно ударился головой о санную грядку. Подняться у меня не было никакихъ силъ, да и мой дикарь мнѣ не далъ бы этого сдѣлать. Онъ придержалъ меня и говоритъ:

— Лежи, бачка, смирно лежи, не околѣешь: снѣгъ замететь, тепло будетъ; а то околѣешь. Лежи!

Ничего не оставалось, какъ его слушаться; и я лежу и не трогаюсь, а онъ сволокъ съ салазокъ оленью шкуру, бросилъ ее на меня и самъ подъ нее же подобрался.

— Вотъ теперь, говоритъ, бачка, хорошо будетъ.

Но это «хорошо» было такъ скверно, что я въ ту же минуту долженъ былъ какъ можно рѣшительнѣе отворотиться отъ моего сосѣда въ другую сторону, ибо присутствіе его на близкомъ разстояніи было невыносимо. Четверодневный Лазарь въ Виоанской пещерѣ не могъ отвратительнѣе смердѣть, чѣмъ этотъ живой человѣкъ; это было что-то хуже труна, — это была смѣсь вонючей оленьей шкуры, остраго человѣчьяго пога, копоти и сырой гнили, юколы, рыбаго жира и грязи... О, Боже, о, бѣдный я человѣкъ! Какъ мнѣ былъ противенъ этотъ, по образу Твоему созданный, братъ мой! О, какъ бы охотно я выскочилъ изъ этой вонючей могилы, въ которую онъ меня рядомъ съ собою укладывалъ, если бы только сила и мочь стоять въ этомъ метущемся адскомъ хаосѣ! Но ничего похожего на такую возможность нельзя было и ждать, — и надо было покоряться.

Мой дикарь замѣтилъ, что я отъ него отвернулся, и говоритъ:

— Погоди, бачка, ты не туда морду клалъ;—ты вотъ сюда кледи морду, вмѣстѣ дуть будемъ,—тепло станетъ.

Это даже слушать казалось ужасно!

Я притворился, что его не слышу, но онъ вдругъ какъ-то напряжился, какъ клопъ, перекатился чрезъ меня и легъ прямо носъ къ носу, и ну дышать мнѣ въ лицо съ ужаснымъ сапомъ и зловоніемъ. Сопѣлъ онъ тоже необычайно, точно кузнечный мѣхъ. Я никакъ не могъ этого стерпѣть и рѣшился добиться, чтобы этого не было.

— Дыши, говорю, какъ-нибудь потише.

— А что? ничего, бачка, я не устану: я тебѣ, бачка, морду грѣю.

«Мордою» его я, разумѣется, не обижался, потому что не до амбиціи мнѣ было въ это время, да и, повторяю вамъ, у нихъ для оттѣнка такихъ излишнихъ тонкостей, чтобы отличать звѣриную морду отъ человѣческаго лица, и отдѣльных словъ еще не заведено. Все морда: у него самого морда, у жены его морда, у его оленя морда, и у его бога Шигемони морда, — почему же у архіерея не быть мордѣ? Это моему преосвященству снести было не трудно, но вотъ что трудно было: сносить это его дыханіе съ этой смердучей юколой и какимъ-то другимъ отвратительнымъ зловоніемъ, — вѣроятно, зловоніемъ его собственнаго желудка, — противъ этого я никакъ не могъ стоять.

— Довольно, говорю, — перестань; ты меня согрѣлъ, теперь болѣе не сопи.

— Нѣтъ, бачка, сопѣть—теплѣй будетъ.

— Нѣтъ, пожалуйста, не надо: и такъ надоѣлъ,—не надо!

— Ну, не надо, бачка, не надо. Теперь спать будемъ.

— Спи.

— И ты, бачка, спи.

И въ эту же секунду, какъ это выговорилъ, точно муштрованная лошадь, которая сразу въ гамонъ принимаетъ, такъ и онъ сразу же уснулъ и сразу же захрапѣлъ. Да, вѣдь, какъ же, злодѣй, захрапѣлъ! Я, признаюсь вамъ, съ дѣтства страшный врагъ соннаго храпа, и гдѣ въ комнатѣ хоть одинъ храпливый человѣкъ есть, я уже мученикъ и ни за что уснуть не могу; а такъ какъ у насъ, въ семинаріи и академіи, разумѣется, было много храпуновъ, и я ихъ поневолѣ много и прилежно слушивалъ, то, не въ смѣхъ вамъ сказать, я вывелъ себѣ о храпѣ свои наблюденія: по храпу, увѣряю васъ, все равно, какъ по голосу и по походкѣ, можно судить о темпераментѣ и о характерѣ человѣка. Увѣряю васъ, это такъ: задорный человѣкъ — онъ и

храпнть задорно, точно онъ и во снѣ сердится; а товарищъ у меня по академіи весельчакъ и франтъ былъ, — такъ тотъ и храпѣлъ какъ-то франтовски: — этакъ весело какъ-то, съ присвистомъ, точно въ своемъ городѣ въ соборѣ идетъ новый сюртукъ обновлять. Его, бывало, даже изъ другихъ камеръ слушать приходили и одобряли его искусство. Но теперешній мой дикій сосѣдъ такую положительную музыку завелъ, что я никогда ни такого обширнаго діапазона, ни такого темпа еще не наблюдалъ и не слыхивалъ: точно какъ будто сильный густой рой гудитъ и въ звонкій сухой улей о стѣнки мягко бьется. Прекрасно этакъ, солидно, ритмически и мѣрно: у-у-у-у-бумъ, бумъ, бумъ, у-у-у-у-бумъ, бумъ, бумъ... По моимъ наблюденіямъ, надлежало бы вывести, что это дѣйствуетъ человѣкъ обстоятельный, надежный; но, лиха бѣда, мнѣ не до наблюденій было: онъ такъ одолѣлъ совѣмъ, разбойникъ, этимъ гуломъ! Терпѣлъ - терпѣлъ я, наконецъ, не выдержалъ, — толкнулъ его въ ребра.

— Не храпи, говорю.

— А что, бачка? зачѣмъ не храпѣть?

— Да ты ужасно храпишь: спать мнѣ не даешь.

— А ты самъ захрапи.

— Да я не умѣю храпѣть.

— А я, бачка, умѣю, — и опять сразу въ галопъ загудѣлъ.

Что ты съ этакимъ мастеромъ станешь дѣлать? Что ужъ тутъ съ такимъ человѣкомъ спорить, который во всемъ превосходитъ: и о крещеніи больше меня знаетъ, по сколько разъ крестятъ, и объ именахъ свѣдущъ, и храпѣть умѣетъ, а я не умѣю; во всемъ передо мною преферансъ получаешь, — надо ему и честь, и мѣсто дать.

Понялся я отъ него, какъ могъ, немножко въ сторону, провелъ съ трудомъ руку за подрясникъ и пожалъ репетиръ: часы прозвонили всего три и три четверти. Это, значить, еще былъ день; вьюга, конечно, пойдетъ на всю ночь, можетъ-быть, и больше... Сибирскія вьюги, вѣдь, продолжительны. Можете себѣ представить, каково имѣть все это въ перспективѣ! А между тѣмъ, положеніе мое все становилось ужаснѣе: сверху насъ, вѣрно, уже хорошо укрыло снѣгомъ и въ логовѣ нашемъ стало не только тепло, а даже душно; но зато и отвратительныя, вонючія испаренія становились все гуще, — отъ этого спертаго смрада у меня занимало

дыханіе и очень жаль, что это сдѣлалось не сразу, потому что тогда я не испыталъ бы и сотой доли тѣхъ мученій, которыя ощутилъ, приведа себя въ память, что съ моимъ отцомъ Киріакомъ пропала и моя бутылка съ подправленною коньякомъ водою и вся наша провизія... Я ясно видѣлъ, что если я не задохнусь здѣсь, какъ въ Черной Пещерѣ, то мнѣ, навѣрно, грозитъ самая ужасная, самая мучительная изъ всѣхъ смертей,—голодная смерть и жажда, которая уже начала надо мною свое терзательство. О, какъ я теперь жалѣлъ, что не остался мерзнуть наверху и залѣзъ въ этотъ снѣжный гробъ, гдѣ мы двое лежали въ такой тѣснотѣ и подъ такимъ прессомъ, что всѣ мои усилія приподняться и встать были совершенно напрасны!

Съ величайшимъ трудомъ я доставалъ изъ-подъ своего плеча кусочки снѣгу и жадно глоталъ ихъ, одинъ за другимъ, но—увы!—это меня нимало не облегчало—напротивъ, это возбуждало у меня тошноту и несносное жженіе въ горлѣ и желудкѣ, а особенно около сердца; затылокъ у меня трещалъ, въ ушахъ стоялъ звонъ и глаза гнело и выпирало на лобъ. А между тѣмъ докучный рой гудѣлъ все гуще и гуще, и все звонче пчелки бились объ улей. Такое ужасное состояніе продолжалось, пока часовой репетиръ сказалъ семь, — и затѣмъ я больше ничего не помню, потому что потерялъ сознаніе.

Это было величайшее счастье, какое могло посѣтить меня въ моемъ настоящемъ бѣдственномъ положеніи. Не знаю, отдыхалъ ли я въ это время сколько-нибудь физически, но я, по крайней мѣрѣ, не мучился представленіемъ о томъ, что меня ожидало впереди и что въ дѣйствительности, по ужасу своему, должно было далеко превзойти всѣ представленія встревоженной фантазіи.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Когда я пришелъ въ чувства, пчелиный рой отлетѣлъ, и я увидѣлъ себя на днѣ глубокой, снѣжной ямы; я лежалъ на самомъ ея днѣ, съ вытянутыми руками и ногами и не чувствовалъ ничего: ни холоду, ни голоду, ни жажды;—рѣшительно ничего! Только голова моя была до того мутна и безтолкова, что мнѣ порядочнаго труда стоило привести себѣ на память все, что со мною произошло, и въ какомъ я теперь нахожусь положеніи. Но, наконецъ, все это вы-

яснилось, и первая мысль, которая мнѣ пришла въ эту пору, была та, что мой дикарь очнулся ранѣе меня и улизнулъ одинъ, а меня бросилъ.

Оно, по здравому сужденію, ему такъ бы и стоило со мною сдѣлать, особенно послѣ того, какъ я ему вчера нагрозилъ и его крестить, и брата его Кузьму-Демьяна разыскивать; но онъ, по своему язычеству, не такъ поступилъ. Чуть я, съ трудомъ двинувъ моими набрякшими членами, сѣлъ на днѣ моей разрытой могилы, какъ увидѣлъ я его шагахъ въ тридцати отъ меня. Онъ стоялъ подѣ большимъ заиндивѣлымъ деревомъ и довольно забавно кривлялся, а надъ нимъ, на длинномъ суку, висѣла собака, у которой изъ распоротаго брюха ползли внизъ теплыя черева.

Я догадался, что это онъ жертву или, по-ихнему, тапгу принесъ, и, по правдѣ сказать, не возропталъ, что это жертвоприношеніе его здѣсь задержало, пока я проснулся, и помѣшало ему меня бросить. А я вполне былъ увѣренъ, что этотъ язычникъ непременно долженъ былъ имѣть такое нехристіанское намѣреніе, и завидовалъ отцу Киріаку, который терпитъ теперь свою бѣду, по крайней мѣрѣ, хоть съ человѣкомъ крещенымъ, который все же долженъ быть благонадежныѣ моего нехристя. И отъ тяжкаго ли моего положенія, что ли, во мнѣ родилось даже такое подозрѣніе, что не слукавилъ ли со мною отецъ Киріакъ и, предусматривая всѣ больше меня ему извѣстныя случайности сибирскихъ путешествій, подѣ видомъ доброжелательства подсудобилъ мнѣ язычника, а себѣ отобралъ христіанина? Не похоже это, конечно, было на отца Киріака, и мнѣ даже и сейчасъ, когда я это вспоминаю, стыдно становится сей моей подозрительности; но что дѣлать, когда она явилась?

Вылѣзъ я изъ снѣжной ямы и сталъ подбираться къ моему дикарю; онъ услышалъ, какъ снѣгъ захрустѣлъ подѣ моими ногами, и обернулся, но сейчасъ же опять сталъ продолжать попрежнему свои тайнодѣйствія.

— Ну, не довольно ли тебѣ кивать-то?—сказалъ я, постоявъ возлѣ него съ минутой.

— Довольно, бачка,—я сейчасъ же пошелъ къ санямъ и началъ цѣплять въ шорки остальныхъ собаченокъ. Закладка была готова, и мы поѣхали.

— Кому ты это тамъ тапгу далъ?—спросилъ я его, махнувъ назадъ головою.

— А не знаю, бачка.

— Да собачку-то ты кому пожертвовалъ: Богу или чорту—шайтану?

— Шайтану, бачка, какъ же,—шайтану.

— За что же ты его угостилъ?

— А за то, бачка, что онъ насъ не заморозилъ: я ему, бачка, за это собачку далъ,—пусть его лопаесть.

— Гм! да онъ-то пусть лопаесть,—не облопается, а собаченку жаль.

— Чего, бачка, жаль: собачка плохая, скоро быдохнуть стала; ничего, бачка,—пусть его беретъ—лопаесть.

— Да; такъ ты съ расчетомъ: дохленькую ему далъ...

— Какъ же, бачка.

— А скажи, пожалуйста: куда мы это теперь ѣдемъ?

— Не знаю, бачка—слѣдъ ищемъ.

— А гдѣ мой попъ—товарищъ?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же намъ его найти?

— Не знаю, бачка.

— Можетъ-быть, онъ замерзъ?

— Зачѣмъ, бачка, замерзъ: снѣгъ есть — не замерзнетъ.

Я вспомнилъ опять, что съ Киріакомъ есть еще и бутылка съ согрѣвающимъ питьемъ, и провизія, и — успокоился. Со мною ничего этого не было, а я теперь охотно поѣлъ бы хоть собачьей юколы, но боялся о ней спросить, потому что не увѣренъ былъ, есть ли она съ нами.

Цѣлый день мы кружили какъ-то зря; я это видѣлъ—если не по безстрастному лицу моего возницы, то по беспокойнымъ, неровнымъ и тревожнымъ движеніямъ его собакъ, которыя все какъ-то прыгали, сустились и безпрестанно металсь изъ стороны въ сторону. Моему дикарю съ ними было много хлопотъ, но его неизмѣнное безстрастное равнодушіе не покидало его ни на минуту: онъ только работалъ своимъ орстелемъ какъ будто съ нѣскольکو большимъ вниманіемъ, безъ котораго намъ, конечно, въ этотъ день сто разъ быть бы выброшенными и остаться либо среди степи, либо гдѣ-нибудь подъ лѣсами, мимо которыхъ мы проѣжали.

Но вотъ вдругъ одна собачка ткнулась мордою въ снѣгъ, дрыгнула задними лапами и пала. Дикарь, разумѣется, лучше меня зналъ, что это значитъ и какую угрожаетъ

намъ новою бѣдою, но не выразилъ ни страха, ни смущенія: такъ же, какъ и всегда, онъ твердою, но безстрастною рукою застремилъ въ снѣгъ свой орстель и далъ мнѣ держать этотъ якорь нашего спасенія, а самъ поспѣшно сошелъ съ саней, вынулъ изнемогаго пса изъ хомутика и потащилъ его взадъ, за сани. Я думалъ, что онъ хочетъ пришибить и закинуть куда-нибудь этого пса; но, оглянувшись, увидѣлъ, что и эта собака уже виситъ на деревѣ и изъ нея опять ползутъ внизъ кровавыя черева. Отвратительное зрѣлище!

— Это что опять?—крикнулъ я ему.

— А шайтану ее, бачка.

— Ну, братъ, довольно будетъ съ твоего шайтана; много ему по двѣ собаки на день ѣсть.

— Ничего, бачка, пусть лопааетъ.

— Пѣтъ, не «ничего», говорю; а если ты ихъ такъ будешь колотить, то ты ихъ всѣхъ шайтану переколешь.

— Я, бачка, ему тѣхъ даю, которыя дохнутъ.

— А ты бы ихъ лучше покормилъ.

— Печѣмъ, бачка.

— Вотъ оно что! — это сказалось то самое, чего я и боялся.

А короткій день уже опять клонился къ вечеру и остальные собаченки, видимо, совсѣмъ устали, изъ силъ выбились и начали какъ-то дико похаркивать и садиться. И вдругъ еще одна пала, а прочія всѣ, какъ по уговору, всѣ сразу сѣли на хвосты и завылл, точно тризну по ней иравили.

Дикарь мой всталъ и хотѣлъ вздернуть шайтану третью собаку, но я ему этого на сей разъ уже рѣшительно не позволилъ. Такъ надоѣло мнѣ на это смотрѣть, да и казалось, что эта мерзость какъ будто увеличивала ужасъ нашего положенія.

— Оставь, говорю, и не смѣй трогать: пусть издыхаетъ какъ ей пришлось.

Онъ и спорить не сталъ, но зато съ обычнымъ ему, самымъ невозмутимымъ спокойствіемъ выкинулъ самую неожиданную штуку. Онъ молча застремилъ свой орстель впереди саней и всѣхъ собаченокъ, одну за другою, отцѣпилъ и пустилъ ихъ на волю. Оголодалые псы словно забыли истому: они взвизгнули, глухо затаивали и понеслись всею стаей въ одну сторону и въ минуту же скрылись въ



льсу за дальнимъ перелогомъ. Все это сталося такъ скоро, какъ въ сказкѣ объ Ильѣ-Муромцѣ сказывается: «какъ сядилса Илья на коня, всѣ видѣли, а какъ уѣхаль, того никто не видаль». Наша двигательная сила насъ оставила: мы *отыиили*: отъ десятка нашихъ, еще такъ недавно бодрыхъ собаченокъ, при насъ оставалась только одна, издохшая, которая валялась у нашихъ ногъ въ своемъ хомутишкѣ.

Дикарь мой стоялъ на этомъ позорищѣ, облокотясь на свой орстель и съ тѣмъ же безстрастіемъ смотрѣлъ себѣ на ноги.

— Зачѣмъ ты это сдѣлалъ?—воскликнулъ я.

— Пустилъ, бачка.

— Вижу, что пустилъ; а придуть ли онѣ назадъ?

— Нѣтъ, бачка, не придуть,—онѣ одичають.

— Для чего же, для чего ты ихъ спустилъ?

— Лопать, бачка, хотять, — пусть звѣрька изловять,— лопать будутъ.

— А мы съ тобою что будемъ лопать?

— Ничего, бачка.

— Ахъ ты, извергъ!

Онъ, вѣрно, не понялъ и ничего мнѣ не отвѣчалъ, но воткнулъ въ снѣгъ свой орстель и пошелъ. Никто бы не отгадалъ, куда и зачѣмъ онъ отъ меня удалился. Я его окликалъ, звалъ его вернуться назадъ, но онъ, только взглянувъ на меня своимъ тупымъ взглядомъ, прорычалъ: «молчи, бачка», и побрелъ дальше. Скоро и онъ исчезъ за опушкой, и я остался одинъ-одинѣшенекъ.

Надо ли вамъ распространяться о томъ, какъ ужасно было мое положеніе или, можетъ-быть, вы лучше поймете весь этотъ ужасъ изъ того, что я не думалъ ни о чемъ, кромѣ того, что я голодень, что мнѣ хочется не ѣсть, въ человѣческомъ смыслѣ желанія пищи, а жрать, какъ голодному волку. Я вынулъ мои часы, подавилъ репетиръ и былъ пораженъ новымъ сюрпризомъ: мои часы стояли,—чего съ ними никогда не случалось на заводѣ. Дрожащими руками я вложилъ въ нихъ ключъ и удостовѣрился, что онѣ стали потому, что весь заводъ сошелъ; а онѣ ходили около двухъ сутокъ на одномъ заводѣ. Это мнѣ открывало, что мы, но-чужа подъ снѣгомъ, пролежали въ своей ледяной могилѣ *болше чѣмъ сутки!* Сколько же? — можетъ-быть, двое,

можетъ-быть, тросъ? Я болѣе не удивлялся, что я такъ мучительно страдаю отъ голода... Я, значить, не ѣлъ, по крайней мѣрѣ, третьи сутки и, сообразивъ это, почувствовалъ свой терзающій голодъ еще ожесточеннѣе.

Ѣсть, что-нибудь Ѣсть!—нечистое, гадкое, лишь бы Ѣсть!—вотъ все, что я понималъ, отчаянноводя вокругъ себя полными нестерпимой муки глазами.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Мы стояли на плоскомъ возвышеніи; за нами была огромная, безбрежная степь, а впереди безконечное ея продолженіе; вправо обозначалась занесенная снѣгомъ низменность и переваль, за которымъ далеко снѣла на горизонтѣ града лѣса, куда скрылись наши собаки. Влѣво шла другая лѣсная опушка, вдоль которой мы ѣхали, пока вся наша сбруя не разстроилась. Сами мы стояли какъ разъ подъ большимъ сугробомъ, который, видно, намело на пригорокъ, покрытый высокими, подъ самое небо уходящими шихтами и сляками. Томимый голодомъ, я стылъ, сиди на краю саней, и, не обращая вниманія ни на что окружающее, не замѣтилъ, когда здѣсь очутился возлѣ меня мой дикарь. Я не видалъ ни того, какъ онъ подошелъ, ни того, какъ онъ, молча, сѣлъ рядомъ со мною; теперь же, когда я обратилъ на него вниманіе, онъ сидѣлъ, поставивъ орстель въ колѣна, а руки завелъ за теплую малицу. Ни одна черта его лица не измѣнилась, ни одинъ мускулъ не двигался и глаза не выражали ничего, кромѣ тупой и спокойной покорности.

Я взглянулъ на него и ни о чемъ его не спросилъ, а онъ, какъ до сихъ поръ никогда первый не заговаривалъ, и теперь не заговорилъ. Такъ мы и осмеркли, такъ и просидѣли рядомъ безконечную темную ночь, не сказавъ другъ другу ни одного слова.

Но чуть на небѣ начало слегка сѣрѣть, дикарь тихо поднялся съ саней, заложилъ руки поглубже за пазуху и опять побрелъ вдоль по опушкѣ. Долго онъ не бывалъ назадъ, я долго видѣлъ, какъ онъ бродилъ и все останавливался: станеть и что-то долго-долго на деревьяхъ разглядываетъ, и опять дальше потянетъ. И такъ онъ, наконецъ, скрылся съ моихъ глазъ, а потомъ опять такъ же тихо и безстрастно возвращается и прямо съ прихода лѣзетъ подъ сани и начинаетъ тамъ что-то настраиывать или разстраиывать.

— Что ты, спрашиваю, там дѣлаешь? — и при этомъ непріятно открываю, какъ у меня спаль и даже совѣтъ перемѣнился мой голосъ, между тѣмъ мой дикарь какъ прежде говорилъ, такъ и теперь такъ же, перекусывая звуки, отрываетъ.

— Лыжи, бачка, достаю.

— Лыжи!—воскликнулъ я въ ужасѣ, тутъ только во всемъ значеніи понявъ, что такое значить «навострить лыжи». — Зачѣмъ ты лыжи достаешь?

— Сейчасъ убѣгу.

— Ахъ, ты, разбойникъ, думаю: куда же ты это побѣжишь?

— На правую руку, бачка, убѣгу.

— Зачѣмъ же ты туда побѣжишь?

— Лопать тебѣ принесу.

— Врешь, говорю,—ты меня здѣсь кинуть хочешь.

Но онъ нимало не смутился и отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, я тебѣ лопать принесу.

— Гдѣ же ты мнѣ лопать возьмешь?

— Не знаю, бачка.

— Какъ же не знаешь: куда же ты бѣжишь?

— На правую руку.

— Кто же тамъ на правой рукѣ?

— Не знаю, бачка.

— А не знаешь, такъ чего же ты бѣжишь?

— Примѣту нашель,—чумъ есть.

— Врешь, говорю, любезный, ты меня одного здѣсь бросить хочешь.

— Нѣтъ; я лопать принесу.

— Ну, ступай, только ужъ лучше не ври, а иди себѣ куда знаешь.

— Зачѣмъ, бачка, врать, не хорошо врать.

— Очень, братъ, не хорошо, а ты врешь.

— Нѣтъ, бачка, не вру! поди со мной; я тебѣ примѣтку покажу.

И, зацѣпивъ лыжи и орстель, онъ поволокъ ихъ за собою и меня взявъ за руку, привелъ къ одному дереву и спрашиваетъ:

— Видишь, бачка?

— Что же, говорю, дерево вижу,—больше ничего.

— А вонъ, на большомъ сукку вѣтка на вѣткѣ,—видишь?

— Ну, что же такое? вижу, есть вѣтка, —вѣрно вѣтеръ ее сюда забросилъ.

— Какой, бачка, вѣтеръ; это не вѣтеръ, а добрый человекъ ее посадилъ,—въ ту руку чумъ есть.

Ну, очевидное дѣло, что или онъ меня обманываетъ, или самъ обманывается; но что же мнѣ дѣлать?—силой мнѣ его не удержать, да и зачѣмъ я его стану удерживать? Не все ли равно, что одному, что вдвоемъ умирать съ холоду и голоду? Пусть бѣжитъ и спасается, если можетъ спастись,—и говорю ему по-монашески: «спасайся, братъ!»

А онъ спокойно отвѣчаетъ: «спасибо, бачка», и съ этимъ утвердился на лыжахъ, заложилъ орстель на плечи, шаркнулъ разъ ногой, шаркнулъ два,—и побѣжалъ. Черезъ минуту его уже и не видно стало, и я остался одинъ-одинѣшникъ среди снѣга, холода и совсѣмъ уже изнурившаго меня мучительнаго голода.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Небольшой зимній сибирскій день я пробродилъ около саней, то присаживаясь, то снова поднимаясь, когда холодъ пересиливалъ несносныя муки голода. Ходилъ я, разумѣется, потихоньку, потому что и силъ у меня не было, да и отъ сильнаго движенія скорѣе устаешь, и тогда еще скорѣе стынешь.

Бродя все вблизи того мѣста, гдѣ меня кинулъ мой дикарь, я не разъ подходилъ и къ тому дереву, на которомъ онъ мнѣ указывалъ примѣтную вѣтку: прилежно я ее разсматривалъ и все еще болѣе убѣждался, что это просто вѣтка, заброшенная сюда вѣтромъ съ другого дерева.

— Обмануль, говорилъ я себѣ, обмануль онъ меня, да и не поставится ему это въ грѣхъ: зачѣмъ ему было пропадать вмѣстѣ со мною, безъ всякой для меня пользы?

И нужно ли вамъ рассказывать, какъ тяжело и мучительно долго мнѣ казался этотъ куцый день? Я не вѣрилъ ни въ какую возможность спасенія и ждалъ смерти; но гдѣ она? зачѣмъ медлить и когда-то еще соберется припожаловать? Сколько я еще натерзаюсь прежде, чѣмъ она меня обласкаетъ и успокоитъ мои мученія?.. Скоро я сталъ замѣчать, что у меня начинаеть минутами изнемогать зрѣніе: вдругъ всѣ предметы какъ бы сольются и пропадутъ въ какой-то сѣрой мглѣ, но потомъ опять вдругъ и неожиданно разъяснитъ... Кажется, это происходитъ просто отъ усталости, но не знаю, какую роль здѣсь играетъ переменна

въ освѣщеніи: чуть освѣщеніе перемѣнится, становится снова видно, и видно очень ясно и далеко, а потомъ опять затуманить. На часокъ выпрыгнувшее за далекими холмами солнышко стало обливаться покрывавшій эти холмы снѣгъ удивительно чистымъ розовымъ свѣтомъ,—это бываетъ тамъ передъ вечеромъ, послѣ чего солнце сейчасъ же быстро и скрывается, и розовый свѣтъ тогда смѣняется самою дивною синевою. Такъ было и теперь: вокругъ меня вблизи все заснѣло, какъ будто сапфирною пылью обсыпалось, — гдѣ рытвина, гдѣ ножной слѣдъ, или такъ просто палкою въ снѣгъ ткнуто, — вездѣ какъ сизый дымокъ за клубился и черезъ малое время этой игры все сразу смеркло: степь какъ опрокинутою чашей покрывало и потомъ опять облегчается... сѣрветъ... Съ этою послѣднею перемѣною, какъ исчезъ и сей удивительный голубой свѣтъ и перебѣжала мгновенная тьма, на моихъ усталыхъ глазахъ въ сѣрой мглѣ пошли отражаться разные удивительные степные фокусы. Всѣ предметы начали принимать невѣроятные, огромные размѣры и очертанія: наши салазки торчали какъ корабельный остовъ; заиндѣвѣлая дохлая собака казалась спящимъ бѣлымъ медвѣдемъ, а деревья какъ бы ожили и стали переходить съ мѣста на мѣсто... И все это такъ живо и интересно, что я, несмотря на мое печальное положеніе, готовъ былъ бы во все это съ любопытствомъ всматриваться, если бы не одно странное обстоятельство, которое меня отпугнуло отъ моихъ наблюдений и, пробудя во мнѣ новый страхъ, оживило съ нимъ вмѣстѣ и инстинктъ самосохраненія. Предъ моими глазами, вдали, въ полутьмѣ, что-то мелькнуло, какъ темная стрѣла, потомъ другая, третья, и вслѣдъ затѣмъ въ воздухѣ раздался протяжный жалобный вой.

Я мигомъ сообразилъ, что это или волки, или наши отпущенныя собаки, которыя, вѣроятно, ничего съѣдомаго не нашли и звѣря не затравили, а, истомясь голодомъ, вспомнили о своей околѣвшей подругѣ и хотятъ воспользоваться ея трупомъ. Во всякомъ случаѣ, тѣ ли это, или другіе, оголодавшіе ли псы, или волки, но они моему пресвященству спуска не дадутъ, и хотя мнѣ по разуму собственнo было бы легче быть сразу растерзаннымъ, чѣмъ долго томиться голодомъ, однако инстинктъ самосохраненія взялъ свое, и я съ ловкостью и быстротою, какихъ, при-

знаться сказать, никогда за собою не зная и отъ себя не чаялъ, взобрався въ своемъ тяжеломъ убранствѣ на самый верхъ дерева, какъ вѣкша, и тогда лишь опомнился, когда выше было некуда лѣзть. Передо мною открывалась цѣлая необъятность и снѣга, и темнаго, какъ густая накипь, неба, на которомъ, изъ далекой непроглядной тьмы, зардѣлись красноватая, безлучныя звѣзды; а пока я окинулъ все это взглядомъ, внизу, почти у самаго корня моего дерева, произошла какая-то свалка: рванье, стонъ, опять потасовка, и опять стонъ, и вотъ опять во тьмѣ мелькнули вросыши стрѣлы, и сразу все стихло, какъ будто ничего и не бывало. Настала такая невозмутимая тишина, что я слышалъ и свой собственный пульсъ внутри себя, и свое дыханіе: оно какъ-то шумитъ, какъ сѣно, а если сильно вздохнуть, то точно электрическая искра тихо пощелкиваетъ въ невыносимо-разрѣженномъ морозномъ воздухѣ, такомъ сухомъ и такомъ холодномъ, что даже мои волосы на бородѣ насквозь промерзли, кололпсь, какъ проволоки, и ломались; я даже сейчасъ чувствую ознобъ при этомъ воспоминаніи, которому всегда помогаютъ мои съ той поры испорченныя ноги. Внизу, можетъ-быть, было немножко теплѣе, а можетъ-быть, и нѣтъ; но я во всякомъ случаѣ не вѣрилъ, что нашествіе хищниковъ тамъ не повторится, и рѣшилъ до утра не сходить съ дерева. Это было не страшнѣе, чѣмъ закопаться подъ снѣгомъ съ своимъ зловоннымъ товарищемъ, да и, вообще, что уже могло быть страшнѣе всего моего теперешняго положенія? Я только выбралъ поразбросистѣе развѣтвленіе и усѣлся на немъ, какъ въ довольно спокойномъ креслѣ, такъ что если бы даже мнѣ и вздремнулось, то я ни за что не упалъ бы; а впрочемъ, для большей безопасности, я крѣпко обхватилъ одинъ сукъ руками и завелъ ихъ обѣ поглубже за малицу. Позиція была хорошо выбрана и хорошо устроена: я сидѣлъ, какъ примерзлый старый сытъ, на котораго, вѣроятно, похожъ былъ и съ виду. Часы мои давно уже не шли, но отсюда для меня были прекрасно открыты Оріонъ и Плеяды—эти небесныя часы, по которымъ я теперь могъ вести счетъ времени моихъ мученій. Я этимъ и занялся: сначала вычислялъ себя приблизительно данную минуту, а потомъ, такъ, просто, безъ всякой цѣли, долго-долго глядѣлъ на эти странныя звѣзды, на совершенно черномъ небѣ, пока онѣ стали слабѣть и

изъ золотыхъ сдѣлались мѣдяными и, наконецъ, совсѣмъ потемнѣли и сгасли.

Настало утро, такое же сѣрое и безрадостное. Мои часы, поставленные мною по распоряженію Плеядъ, показали девять. Голодь все ожесточался и мучилъ меня неизмѣнно: я уже не чувствовалъ ни томящаго запаха яствъ и никакого воспоминанія о вкусѣ пищи, а у меня просто была голодная боль: мой пустой желудокъ сучило и скручивало какъ веревку и причиняло мнѣ мученія невыносимыя.

Безъ всякой надежды найти что-нибудь съѣстное, я спустился съ дерева и сталъ бродить. Въ одномъ мѣстѣ я поднялъ на снѣгу еловую шишку. Сначала думалъ, не кедровая ли и нѣтъ ли въ ней орѣшковъ, но оказалось, просто-на-просто обыкновенная еловая шишка. Я разломилъ ее, досталъ изъ нея зернышко и проглотилъ, но смолистый запахъ былъ такъ противенъ, что и пустой желудокъ не принялъ этого зерна и отъ того боли мои только усилились. Въ это время я замѣтилъ, что около нашихъ брошенныхъ саней въ разныхъ направленіяхъ было множество недавнихъ слѣдовъ и что наша дохлая собака исчезла. За нею теперь, очевидно, былъ на очереди мой трупъ, на который сбѣжата тѣ же волки и такъ же скоро и хищно его между собою раздѣлять. Только когда же это будетъ? Неужели еще сутки? А ну, какъ еще болѣе?—Нѣтъ. Я припомнилъ себѣ одного фанатика - запощеванца, который заморилъ себя голодомъ во славу Христову; онъ имѣлъ духъ отмѣчать дни своего томленія и насчиталъ ихъ девять... Это ужасно! Но тотъ голодалъ въ теплѣ, а я подвергаюсь всему при жестокомъ холодѣ,—это, конечно, должно дѣлать большую разницу. Силы мои меня совсѣмъ оставили, — я уже не могъ согрѣвать себя движеніемъ и сѣлъ на сани. Даже сознаніе моей участи меня какъ будто покинуло: я чувствовалъ на вѣкахъ моихъ тѣнь смерти и томился только тѣмъ, что она такъ медленно уводитъ меня въ путь невозвратный. Вы поймете, что я такъ искренно желалъ уйти изъ этой мерзлой пустыни въ сборный домъ всѣхъ живущихъ и нимало не сожалѣлъ, что здѣсь, въ этой студеной тѣлѣ, я постелю постель мою. Цѣпь мыслей моихъ порвалась, кувшинъ разбился и колесо надъ колодцемъ обрушилось: ни мыслей, ни даже обращенія къ небу въ самыхъ

привычныхъ формахъ, нечего, негдѣ и челѣмъ стало по-чиринуть. Я это созналъ и вздохнулъ.

Авва Отче! не могу даже извести Тебѣ покаянія, но Ты Самъ сдвинулъ свѣтильникъ мой съ мѣста, Самъ и пору-чись за меня передъ Собою!

Это была вся моя молитва, которую я могъ собрать въ умѣ моемъ, и затѣмъ ничего не помню, какъ шель этотъ день. Всеконечно, съ твердостью могу уновать, что онъ былъ такой же точно, какъ и тотъ, чтѣ минулъ. Казалось мнѣ только, что я въ этотъ день видѣлъ будто бы вдали отъ себя два живыя существа, и это будто были двѣ какія-то птицы; онѣ мнѣ казались ростомъ съ сорокъ и статью по-хожія на сороку, но съ сквернымъ лохматымъ перомъ, въ родѣ совиного. Передъ самымъ закатомъ солнца онѣ слѣтѣли откуда-то съ дерева на снѣгъ, походили и улетѣли. Но, можетъ-быть, мнѣ это только казалось въ моихъ пред-смертныхъ галлюцинаціяхъ; однако, казалось это такъ живо, что я слѣдилъ за ихъ полетомъ и видѣлъ, какъ онѣ гдѣ-то вдали скрылись, какъ будто растаяли. Усталые глаза мои, дойдя до этого мѣста, такъ на немъ и стали, и остолбс-нѣли. Но чтѣ бы вамъ думалось? — вдругъ я начинаю замѣчать въ этомъ направленіи какую-то странную точку, ко-торой, кажется, здѣсь прежде не было. Притомъ же каза-лось, что она какъ будто движется, — хоть это было такъ незамѣтно, что движеніе ея скорѣй можно было отличать внутреннимъ чутьемъ, а не глазами, но я былъ увѣренъ, что она движется.

Надежда на спасеніе заговорила, и всѣ муки мои не въ сплахъ были перекричать и заглушить ее; точка все росла и все яснѣе, и яснѣе опредѣлялась на этомъ удивительно нѣжно-розовомъ фонѣ. Миражъ ли это, столь возможный въ семь пустынномъ мѣстѣ, при такомъ капризномъ освѣщеніи, или это, дѣйствительно, что-то живое слѣшитъ ко мнѣ, но оно во всякомъ случаѣ летитъ прямо на меня, и именно не идетъ, а летитъ: я вижу, какъ оно чертитъ, наконецъ, различаю фигуру—вижу у нея ноги,—я вижу, какъ онѣ штри-хуютъ одна за другою и... вслѣдъ затѣмъ, снова быстро перехожу отъ радости къ отчаянію. Да; это не миражъ—я его слишкомъ явно вижу, но зато это и не человѣкъ, какъ и не звѣрь. Вообще на землѣ нѣтъ во плоти ни одного такого существа, которое походило бы на это волшебное,



фантастическое видѣніе, какос на меня надвигало, словно ступаясь, складываясь, или, какъ господа спириты говорятъ пынѣ, «материализуясь» изъ игривыхъ тововъ мерзлой атмосферы. Или меня обманывастъ мой глазъ и мое воображеніе, пли, кто что ни говори, а это духъ. Какой? Кто ты? Неужто это мой отецъ Кириакъ спѣшить мнѣ навстрѣчу изъ царства мертвыхъ... А можетъ быть мы оба уже тамъ?.. неужто я уже и кончилъ переходъ? Какъ хорошо! какъ любопытенъ этотъ духъ, этотъ мой новый согражданинъ въ новой жизни! Опишу его вамъ какъ умѣю: ко мнѣ плыла крылатая, гигантская фигура, которая вся съ головы до пятъ была облечена въ хитонъ серебряной парчи и вся искрилась; на головѣ огромнѣйшій, казалось, чуть ли не въ сажень вышины, уборъ, который горѣлъ, какъ будто весь сплошь усыпанъ былъ брильянтами или точно это цѣлая брильянтовая митра... Все это точно у богато-убраннаго индійскаго идола, и, въ довершеніе сего сходства съ идоломъ и съ фантастическимъ его явленіемъ, изъ-подъ ногъ моего дивнаго гостя брызжутъ искры серебряной пыли, по которой онъ точно несется на легкомъ облакѣ, по меньшей мѣрѣ, какъ сказочный Гермесъ.

И вотъ, пока я его разсматривалъ, онъ, этотъ удивительный духъ, все ближе, ближе, и — вотъ, наконецъ, совсѣмъ близко, и еще моментъ, и онъ, обрызгавъ всего меня снѣжной пылью, воткнулъ передо мною свой волшебный жезлъ и воскликнулъ:

— Здравствуй, бачка!

Я не вѣрилъ ни своимъ глазамъ, ни своему слуху: удивительный духъ этотъ былъ, конечно, онъ, — мой дикарь! Теперь въ этомъ нельзя было болѣе ошибаться: вотъ подъ ногами его тѣ же самыя лыжи, на которыхъ онъ убѣжать, за плечами другія; передо мною воткнуть въ снѣгъ его орстель, а на рукахъ у него цѣлая медвѣжья ляжка, совсѣмъ и съ шерстью, и со всей когтистой лапой. Но во что онъ убранъ, во что онъ преобразился?

Не дожидая съ моей стороны никакого отвѣта на свое привѣтствіе, онъ сунулъ мнѣ къ лицу эту медвѣжатину и, промычавъ:

— Лопай, бачка!—самъ сѣлъ на сани и началъ снимать съ своихъ ногъ лыжи.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Я приналь къ окороку и грызь, и сосаль сырое мясо, стараясь утолить терзавшій меня голодь, и въ то же время смотрѣль на моего избавителя.

Что это такое было у него на головѣ, которая оставалась все въ томъ же дивномъ блестящемъ, высокомъ уборѣ,—никакъ я этого не могъ разобрать, и говорю:

— Послушай. что это у тебя на головѣ?

— А это, отвѣчаетъ, то, что ты мнѣ денегъ не далъ.

Признаюсь, я не совсѣмъ поняль, что онъ мнѣ этимъ хотѣль сказать, но всматриваюсь въ него внимательнѣе — и открываю, что этотъ его высокій брилльянтовый головной уборъ есть не что иное, какъ его же собственные длинные волосы: всѣ ихъ пропушило насквозь снѣжною пылью, и какъ они у него на бѣгу развѣвались, такъ ихъ снопомъ и заморозило.

— А гдѣ же твой треухъ?

— Кинуль.

— Для чего?

— А что ты мнѣ денегъ не далъ.

— Ну, говорю, я тебѣ, точно, забыль денегъ дать,—это я дурно сдѣлалъ, но какой же жестокой человѣкъ этотъ хозяинъ, который тебѣ не повѣрилъ и въ такую стыдь съ тебя шапку снялъ.

— Съ меня шапки никто не снималъ.

— А какъ же это было?

— Я ее самъ кинуль.

И рассказалъ мнѣ, что онъ по примѣткѣ весь день бѣжалъ, юрту нашель,—въ юртѣ медвѣдь лежитъ, а хозяевъ дома нѣтъ.

— Ну?

— Думалъ, тебѣ долго ждатель, бачка,—ты издохнешь.

— Ну?

— Я медвѣдь рубиль и лапу взяль, и назадъ бѣжалъ, а ему шапку клалъ.

— Зачѣмъ?

— Чтобы онъ дурно, бачка, не думалъ.

— Да вѣдь тебя этотъ хозяинъ не знаетъ.

— Этотъ, бачка, не знаетъ, а другой знаетъ.

— Какой другой?

— А тотъ Хозяинъ, Который сверху смотритъ.

— Гм! Который сверху смотритъ?..

— Да, бачка, какъ же: вѣдь Онъ, бачка, все видитъ.

— Видитъ, братецъ, видитъ.

— Какъ же, бачка? — Онъ, бачка, не любитъ, кто худо сдѣлалъ.

Разсужденіе весьма близкое къ тому, какое высказалъ св. Сиринъ соблазнявшей его прелестницѣ, которая манила его къ себѣ въ домъ, а онъ приглашалъ ее согрѣшить все-народно на площади; та говоритъ: «тамъ нельзя; тамъ люди увидятъ», а онъ говоритъ: «я на людей-то не очень бы посмотрѣлъ, а вотъ какъ бы насъ Богъ не увидалъ? Давай-ка лучше разойдемся».

— Ну, братъ, подумалъ я, однако, и ты отъ царства небеснаго недалеко ходишь; а онъ во время сей краткой моей думы кувыркнулся въ снѣгъ.

— Прощай, говоритъ бачка, ты лопай, а я спать хочу.

И засопѣлъ своимъ могучимъ обычаемъ.

Это уже было темно; надъ нами опять разостлалось черное небо и по немъ, какъ искры по смолѣ, засверкали безлучныя звѣзды.

Я тогда уже немножко препитался, то-есть проглотилъ нѣсколько кусочковъ сырого мяса, и стоялъ съ медвѣжьимъ окорокомъ на рукахъ надъ спящимъ дикаремъ и вопрошалъ себя:

— Что за загадочное странствіе совершаетъ этотъ чистый, высокій духъ въ этомъ неуклюжемъ тѣлѣ и въ этой ужасной пустынѣ? Зачѣмъ онъ воплощенъ здѣсь, а не въ странахъ, благословенныхъ природою? Для чего умъ его такъ скуденъ, что не можетъ открыть ему Творца въ болѣе пространномъ и ясномъ понятіи? Для чего, о Боже, лишень онъ возможности благодарить Тебя за просвѣщеніе его свѣтомъ Твоего Евангелія? Для чего въ рукѣ моей нѣтъ средствъ, чтобы возродить его новымъ торжественнымъ рожденіемъ съ усыновленіемъ Тебѣ Христомъ Твоимъ? Должна же быть на все это воля Твоя; если Ты, гдъ семь нечальномъ его состояніи, вразумляешь его какимъ-то дивнымъ свѣтомъ свыше, то я вѣрю, что сей свѣтъ ума его есть даръ Твой! Владыко мой, како уразумѣю: что сотворю, да не прогнѣваю Тебя и не оскорблю сего моего искренняго?

И въ этомъ раздумѣи не замѣтилъ я, какъ небо вдругъ

вспыхнуло, загорѣлось и облило насъ волшебнымъ свѣтомъ: все приняло оиятъ огромные, фантастическіе размѣры и мой спящій избавитель представлялся мнѣ очарованнымъ могучимъ сказочнымъ богатыремъ. Я пригнулся къ нему и сталъ его разсматривать, словно никогда его до сей поры не видѣлъ, и что я скажу вамъ?— онъ мнѣ показался прекрасенъ. Мнилось мнѣ, что это былъ тотъ, на чьей шеѣ обитаетъ сила; тотъ, чья смертная нога идетъ въ путь, котораго не знаютъ хищныя птицы; тотъ, передъ кѣмъ бѣжитъ ужасъ, сократившій меня до безсилія и уловившій меня, какъ въ петлю, въ мой собственный замысль. Скучно слово его, но зато онъ не можетъ утѣшать скорбное сердце движеніемъ губъ, а слово его. это—искра въ движеніи его сердца. Какъ краснорѣчива его добродѣтель и кто рѣшится огорчить его?... Во всякомъ разѣ не я. Нѣтъ, живъ Господь, огорчившій ради его душу мою, это буду не я. Пусть плечо мое отпадетъ отъ спины моеи и рука моя отломится отъ моего локтя, если я подниму ее на сего бѣдняка и на бѣдный родъ его! Прости меня, блаженный Августинъ, а я и тогда разномыслилъ съ тобою, и сейчасъ съ тобою не согласенъ, что будто «самыя добродѣтели языческія суть только скрытые пороки». Нѣтъ; сей, спасшій жизнь мою, сдѣлалъ это не по чему иному, какъ по добродѣтели. самоотверженному состраданію и благородству; онъ, не зная апостольскаго завѣта Петра, «мужался ради меня (своего недруга) и предавалъ душу свою въ благотвореніе». Онъ покинулъ свой трехухъ и бѣжалъ сутки въ ледяной шалкѣ, конечно, движимый не однимъ *естественнымъ* чувствомъ состраданія ко мнѣ, а имѣя также *religio*, — дорожа *возсоединеніемъ* съ тѣмъ Хозяиномъ, «Который сверху смотритъ». Что же я съ нимъ сотворю теперь? возьму ли я у него эту религію и разобью ее, когда другой, лучшей и сладостнѣйшей, я лишень возможности дать ему, доколѣ «слова путаютъ смыслъ смертнаго», а дѣль, для плѣненія его, показать невозможно? Неужто я стану страхомъ его нудить, или выгодною защиты обольщать? Никогда, да не будетъ онъ, какъ Емморъ и Сихемъ, обрѣзавшіеся ради дочерей и скотовъ Іаковлевыхъ! Скотовъ и дочерей вѣрою приобрѣтающіе — не вѣру, а дочерей и скотовъ только приобрящутъ и семидалъ отъ рукъ ихъ будетъ Тебѣ яко же и кровь свиная. А гдѣ же мои средства его воспитать, его

*просьмитъ*, когда иѣтъ ихъ, этихъ средствъ, и все какъ бы нарочито такъ устроено, чтобы имъ не быть въ моихъ рукахъ? Нѣтъ; вѣрно, правъ мой Киріакъ: здѣсь печать, которой несвободною рукою не распечатаешь,—и благи мнѣ по мысли пришелъ совѣтъ Аввакума пророка: «аще умедлить, потерпи ему, яко идый приидеть и не умедлить». Ей, гряди, Христось. ей, гряди Самъ въ сіе сердце чистое, въ сію душу смирную; а доколѣ медлишь, доколѣ не изволишь сего... пусть милы ему будутъ эти снѣжныя глыбы его долишь, пусть въ свой день онъ скончается, сброси жизнь, какъ лоза—дозрѣвшую ягоду, какъ дикая маслина—цвѣтокъ свой... Не мнѣ ставить въ колоды ноги его и преслѣдовать его стези, когда Самъ Сый написалъ перстомъ Своимъ законъ любви въ сердцѣ его и отвелъ его въ сторону отъ дѣлъ гнѣва. Авва Отче, сообщай Себя любящему Тебя, а не испытующему, и пребудь благословенъ до вѣка такимъ, какимъ Ты по благи Своей дозволилъ и мнѣ, и ему, и каждому по-своему постигать волю Твою. Нѣтъ больше смятенія въ сердцѣ моемъ: вѣрю, что Ты открылъ ему Себя, сколько ему надо, и онъ знаетъ Тебя, какъ и все Тебя знаетъ:

Largior hic campos aether et lumine vestit  
Purpureo, solemque suum. sua sidera norunt!

подсказалъ моей памяти старый *Виргилій*,—и я поклонился у изголовья моего дикаря лицомъ до низу и, ставъ на колѣни, благословилъ его и, покрывъ его мерзлую голову своею полою, спалъ съ нимъ рядомъ такъ, какъ бы я спалъ, обнявшись съ пустыннымъ ангеломъ.

## ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

Досказывать ли вамъ конецъ? Онъ не мудренѣе начала.

Когда мы проснулись, дикарь подладилъ подъ меня принесенныя имъ лыжи, вырубилъ мнѣ шесть. всунуть въ руки и научилъ, какъ его держать; потомъ подоясалъ меня веревкою, взялъ ее за конецъ и поволокъ за собою.

Спросите: куда? — Прежде всего за медвѣжатину долгъ платить. Тамъ мы надѣялись взять собакъ и ѣхать далѣе; но поѣхали не туда, куда вначалѣ влекла меня моя неопытная затѣя. Въ дынной юртѣ нашего кредитора ждало меня еще одно поученіе, имѣвшее весьма рѣшительное значеніе на всю мою послѣдующую дѣятельность. Въ томъ

было дѣло, что хозяинъ, которому мой дикарь шапку покинулъ, совсѣмъ не на охоту въ то время ходилъ, когда прибѣгаль мой избавитель, а онъ выручалъ моего Кириака, котораго обрѣлъ брошеннаго его крещенымъ проводникомъ среди пустыни. Да, господа, тутъ въ юртѣ, близъ тусклаго вонючаго огня, я нашелъ моего честнаго старца, и въ какомъ ужасномъ, сердце сжимающемъ, положеніи! Онъ весь обмерзъ; его чѣмъ-то смазали, и онъ еще живъ былъ, но ужасный запахъ, который обдалъ меня при приближеніи къ нему, сказалъ мнѣ, что духъ, стерегшій домъ сей, отходить. Я поднялъ покрывавшую его оленью шкуру и ужаснулся: гангрена отдѣлила все мясо его ногъ отъ кости, но онъ еще смотрѣлъ и говорилъ. Узнавъ меня, онъ прошепталъ:

— Здравствуй, владыко!

Въ несказанномъ ужасѣ я глядѣлъ на него и не находилъ словъ.

— Я ждалъ тебя, вотъ ты и пришелъ; ну, слава Богу. Видѣлъ степь? Какова показалась?.. Ничего,— живъ будешь, опытъ имѣть будешь.

— Прости, говорю, меня, отецъ Кириакъ, что я тебя сюда завелъ.

— Полно, владыко. Благословенъ будь приходъ твой сюда; опытъ получилъ и живи, а меня скорѣй исповѣдуй.

— Хорошо, говорю, сейчасъ; гдѣ же у тебя Святые Дары,—они вѣдь съ тобой были?

— Со мной были, отвѣчаетъ, да нѣтъ ихъ.

— Гдѣ же они?

— Ихъ дикарь съѣлъ.

— Чтò ты говоришь!

— Да!.. съѣлъ! Ну, чтò говоритъ,—темный человѣкъ... спутанъ умъ... Не могъ его удержать... говоритъ: «попа встрѣчу,—онъ меня проститъ». Чтò говоритъ?.. все спуталъ...

— Неужто же, говорю, онъ и муро съѣлъ!

— Все съѣлъ, и губочку съѣлъ, и дароносицу унесъ, и меня бросилъ... вѣрить, что «попа проститъ»... Чтò говорить?.. спутанъ умъ... простимъ ему это, владыко,— пусть только насъ Христось проститъ. Дай слово мнѣ не искать его, бѣднаго, или... если отыщешь его...

— Проститъ?

— Да; Христа ради прости и... какъ пріѣдешь домой, гляди, вражкамъ ничего о немъ не сказывай, а то они, ду-

жавые, пожалуй, надъ бѣднякомъ-то свою ревность покажутъ. Пожалуйста, не сказывай.

Я далъ слово и, опустьясь возлѣ умирающаго на колѣни, сталъ его исповѣдывать; а въ это самое время въ полную людей юрту вскочила пестрая шаманка, заколотила въ свой бубень; ей пошли подражать на деревянномъ камертонѣ и еще на какомъ-то непонятномъ инструментѣ, типа того времени, когда племена и народы, по гласу трубы и всякаго рода мусикии, повергались ницъ передъ истуканомъ деирскаго поля,—и началось дикое торжество.

Это моленіе шло за насъ и за наше избавленіе, когда имъ, можетъ-быть, лучше было бы молиться за свое отъ насъ избавленіе, и я, архіерей, присутствовалъ при этомъ моленіи, а отецъ Киріакъ отдавалъ при немъ свой духъ Богу, и не то молился, не то судился съ Нимъ, какъ Іеремія пророкъ, или договаривался, какъ истинный свинопасъ евангельскій, не словами, а какими-то воздыханіями неизглаголаннкими.

— Умилюсердись,—шепталъ онъ. — Прими меня теперь, какъ одного изъ наемниковъ Твоихъ! Насталъ часъ... возврати мнѣ мой прежній образъ и наслѣдіе... не дай мнѣ быть злымъ дьяволомъ въ адѣ; потопа грѣхи мои въ крови Іисуса, пошли меня къ Нему!.. хочу быть прахомъ у ногъ Его... Изреки: «да будетъ такъ»...

Перевелъ духъ и опять зоветъ:

— О доброта... о простота... о любовь!.. о радость моя!.. Іисусе!.. вотъ я бѣгу къ Тебѣ, какъ Никодимъ, ночью; вари ко мнѣ, открой дверь... дай мнѣ слышать Бога, ходящаго и глаголющаго!.. Вотъ... риза Твоя уже въ рукахъ моихъ... сокруши стегно мое... но я не отпущу Тебя... доколѣ не благословишь со мной всѣхъ.

Люблю эту *русскую* молитву, какъ она еще въ двѣнадцатомъ вѣкѣ вылилась у нашего Златоуста, Куріла въ Туровѣ, которою онъ и намъ завѣщалъ «не токмо за свои молитися, но и за чужія, и не за единныя христіаны, но и за иновѣрныя, да быша ся обратили къ Богу». Милый старикъ мой, Киріакъ, такъ и молился, — *за всѣхъ* держалъ: «*всѣхъ*, говоритъ, благослови, а то не отпущу Тебя!» Что съ такимъ чудакомъ подѣлаешь?

Съ сими словами потянулся онъ — точно поволокся за Христовою ризою,—и улетѣлъ... Такъ мнѣ и до сихъ поръ

представляется, что онъ все держится, виситъ и носится за Нимъ, прося: «*благослови всѣхъ, а то — не отстану*». Дерзкій старичокъ этотъ своего, пожалуй, допросится; а Тотъ по добротѣ Своей ему не откажетъ. У насъ вѣдь это все *in sancta simplicitate семейно* со Христомъ дѣлается. Понимаемъ мы Его, или нѣтъ, объ этомъ толкуйте, какъ знаете, но а что мы живемъ съ Нимъ запросто—это-го уже очень, кажется, неоспоримо. А Онъ простоту сильно любить...

### ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Я схоронилъ Кириака подъ глыбой земли, на берегу замерзшаго ручья, и тутъ же узналъ отъ дикарей гвусную новость, что мой усибшій зырянинъ крестилъ... стыдно сказать—*съ угощеніемъ*, по-просту—съ водочкой. Стыдомъ это въ моихъ глазахъ все это дѣло покрыло и не захотѣлъ я этого крестителя видѣть и слышать о немъ, а повернулъ назадъ къ городу, съ рѣшимостью сѣсть въ своемъ монастырѣ за книги, безъ конхъ монаху въ праздномыслии—смертная гибель, а въ промежуткахъ времени смирно стричь ставленниковъ, да дьячихъ съ мужьями мирить: но за святое дѣло, которое всвятѣ совершать нельзя кое-какъ, лучше совсѣмъ не трогаться,—«не давать безумія Богу».

Такъ я и сдѣлалъ,—и вернулся въ монастырь умудренный опытомъ, что многострадальные миссіонеры мои люди добрые и слава Богу, что они такіе, а не иные.

Теперь я ясно видѣлъ, что добрая слабость простителевнѣ ревности не по разуму—въ томъ дѣлѣ, гдѣ нѣтъ средства приложить ревность разумную. А что таковая невозможна,—въ этомъ убѣдила меня дождавшаяся меня въ монастырѣ бумага, въ коей мнѣ сообщалось «къ свѣдѣнію», что въ Сибири, кромѣ 580 буддійскихъ ламъ, состоящихъ въ штатѣ при тридцати четырехъ кумирняхъ, допускаются еще ламы сверхштатные. Что же? вѣдь я не Канюшкевичъ или не Арсеній Мацѣвичъ, — я епископъ, школы новой и съ кляпомъ во рту въ Ревелѣ сидѣть не хочу, какъ Арсеній сидѣлъ, да отъ этого и проку нѣтъ... Я принялъ извѣстіе объ усиленіи ламъ «къ свѣдѣнію», и только вытребовалъ, какъ могъ поскорѣе, къ себѣ назадъ изъ стѣн зырянина и, навѣсивъ ему за усибхи набедренникъ, яко мечъ духовный, оставилъ его въ городѣ при соборѣ ризничимъ и наблюдаемымъ за перезолоткою иконостаса; а своихъ лѣнивенькихъ



миссіонеровъ собрасть, да, въ поясъ имъ поклонясь, сказалъ:

— Простите меня, отцы и братія, что вашу доброту не понимаю.

— Богъ, говорятъ, проститъ.

— Ну, молъ, спасибо, что вы милостивы, и будьте отнынѣ вездѣ и всегда паче всего милостивы и Богъ милосердія будетъ на дѣлахъ вашихъ.

И съ тѣхъ поръ во все мое остальное, довольно продолжительное, пребываніе въ Сибири я никогда не смущался, если тихій трудъ моихъ проповѣдниковъ не давалъ столь любимыхъ великосвѣтскими религіозными нетерпѣливцами эффектныхъ результатовъ. Когда не было такихъ эффектовъ, я былъ покоенъ, что «водоносы по очереди наполняются»; но когда случайно у того или у другого изъ миссіонеровъ являлась вдругъ большая цифра... я, признаюсь вамъ, чувствовалъ себя тревожно... Мнѣ припоминался то мой зырянинъ, то оный гвардейскій креститель Ушаковъ, либо совѣтникъ Ярцевъ, которые были еще благопоспѣшнѣе, понеже у нихъ, якоже и во дни Владиміра, «благочестіе со страхомъ бѣ сопряжено», и инородцы у нихъ, еще до пріѣзда миссіонеровъ, уже просили крещенія... Да только что же изъ всей ихъ этой борзости и «благочестія, со страхомъ сопряженнаго», вышло?— Мерзость запустѣнія стала по святымъ мѣстамъ, гдѣ были купели сихъ борзыхъ крестильниковъ и... въ этомъ путалось все — и умъ, и сердце, и понятія людей, и я, худой архіерей, не могъ съ этимъ ничего сдѣлать, да и хорошій ничего не сдѣлаеть, пока... пока, такъ-сказать, мы всерьезъ станемъ заниматься вѣрою, а не кичиться ею фарисейски, для блезира. Вотъ, господа, въ какомъ положеніи бываемъ мы, русскіе крестители, и не отъ того, чай, что не понимаемъ Христа, а именно отъ того, что мы Его понимаемъ и не хотимъ, чтобы имя Его хулилось во языцѣхъ. И такъ я и жилъ уже, не лютуя съ прежнею прытью, а терпѣливо и даже, можетъ-быть, лѣнностно влача кресты, отъ Христа и не отъ Христа на меня выпадавшіе, изъ коихъ замѣчательнѣйшимъ былъ тотъ, что я, ревностно принявшись за изученіе буддизма, самъ раченіемъ моего зыряннина прослылъ за потаеннаго буддиста... Такъ это при мнѣ и осталось, хотя я, впрочемъ, ревность своего зыряннина не стѣснялъ и предоставлялъ ему орудовать испытанными, по своей вѣрности, пріемами князи

Андрея Боголюбскаго, о коихъ выкликаль надъ его гробомъ Кузьма домочадецъ: «придетъ, дескать, бывало, язычникъ, ты велишь его вестъ въ ризницу, — *пусть смотритъ на наше истинное христіанство*». И я зырянину предоста-вилъ, кого онъ хочетъ, водить въ ризницу и все собранное тамъ отъ нашего съ нимъ «истиннаго христіанства» со-тпаніемъ показывать... И было все это хорошо и довольно дѣйственно; наше «истинное христіанство» одобряли, но только, разумѣется, можетъ-быть, моему зырянину каза-лось скучно по два да по три человекъ крестить, да и впрямь оно скучно. Вотъ и до настоящаго русскаго слова договорился: «скучно»! Скучно, господа, тогда было бо-роться съ самодовольнымъ невѣжествомъ, терпѣвшимъ въру только какъ политическое средство; зато теперь, можетъ-быть, еще скучнѣе бороться съ равнодушіемъ тѣхъ, ко-торые замѣсто того, чтобы другимъ свѣтитъ, по удачному выраженію того же Мацѣевича, «*сами насилу върують...*» А вы, вѣдь, современные умные люди, все думаете: «эхъ, плохи ваши епархіальные архіереи! Чтѣ они дѣлають? Ни-чего они, наши архіереи, не дѣлають». Не хочу за всѣхъ заступаться: многіе изъ насъ, дѣйствительно, очень не-мощны стали: подъ крестами спотыкаются, надають и уже не то, что кто-нибудь — заправскій воротила, а даже иной рора *mitratus* для нихъ въ своемъ родѣ владыкой стано-вится, и все это, разумѣется, изъ того, «что ми хочете дати», но, а спросилъ бы я васъ: чтѣ ихъ до этого довело? Не то ли именно, что они, ваши епархіальные архіереи, обращены въ администраторовъ и *ничего* живого не могутъ теперь дѣлать? И знаете: вы, можетъ-быть, большою благо-дарностію имъ обязаны, что они въ эту пору ничего не дѣлають. А то они скрутили бы вамъ клейменымъ ремнемъ такія бремена неудобноносимыя, что, Богъ вѣсть, разсѣлся ли бы хребетъ вдребезги, или разлетѣлся бы ремень пополамъ; но мы вѣдь *консерваторы*: бережемъ, какъ можемъ, «сво-боду, сю же Христосъ насъ свободи», отъ таковыхъ «со-дѣйствій»... Вотъ, господа, почему мы слабо дѣйствуемъ и содѣйствуемъ. Не колите же намъ глазъ бывшими іерар-хами, какъ св. Гурій и другіе. Св. Гурій умѣль просвѣ-щать — это правда; да вѣдь онъ для того и фхаль-то въ дикій край хорошо оснаряженъ: съ наказомъ и съ правомъ «привлекать народъ ласкою, кормами, *заступленіемъ* передъ

властями, печалованіемъ за вины передъ воеводами и судьями»; «онъ обязанъ былъ» участвовать съ правителями въ совѣтѣ; а вашъ сегодняшній архіерей даже съ своимъ сосѣдомъ архіереемъ не воленъ о дѣлахъ посовѣщаться; ему словно ни о чемъ не надо думать: за него есть кому думать, а онъ обязанъ только все принять «къ свѣдѣнію». Чего же вы отъ него хотите, если ему нынѣ самому за себя уже негдѣ стало печаловаться?.. Эхъ, твори, Господи, волю Свою... Что можетъ еще дѣлаться, то какъ-то пока само дѣлается, и я это видѣлъ подъ конецъ моего пастырства въ Сибири. Пріѣзжаетъ разъ ко мнѣ одинъ миссіонеръ и говоритъ, что онъ напалъ на кочевье въ томъ мѣстѣ, гдѣ я зарылъ моего Киріака, и тамъ у ручья цѣлую толпу окрестилъ въ «Киріакова Бога», какъ крестился нѣкогда человекъ во имя «Бога Іустінова». Добрый народъ у костей добраго старца возлюбилъ и понялъ Бога, сотворившаго сего добряка, и самъ захотѣлъ служить Богу, создавшему такое душевное «изящество».

Я за это велѣлъ Киріаку такой здоровый дубовый крестъ поставить, что отъ него не отрекся бы и галицкій князь Владимірко, вмѣнявшій ни во что цѣлованіе креста малаго; воздвигли мы Киріаку крестъ вдвое больше всего зырянина, — и это было самое послѣднее мое распоряженіе по сибирской паствѣ.

Не знаю, кто этотъ крестъ срубить, или уже до сихъ поръ и срубили его: буддійскіе ли ламы, или русскіе чиновники, — да, впрочемъ, это все равно...

Вотъ вамъ разсказъ мой и конченъ. Судите всѣхъ насъ, въ чемъ видите, — оправдываться не стану, а одно скажу, что мой простой Киріакъ понималъ Христа навѣрно не хуже тѣхъ нашихъ заѣзжихъ проповѣдниковъ, которые бряцаютъ, какъ кимвалъ звенящій, въ вашихъ гостинныхъ и вашихъ зимнихъ садахъ. Тамъ имъ и присутствовать, среди женъ Лотовыхъ, изъ конхъ каждая, какихъ бы словесъ ни наслушалась, въ Сигорь не уйдетъ, а, пофинтивъ передъ Богомъ, доколѣ у насъ очень скучненько живетъ, при малѣйшемъ измѣненіи въ жизни, опять къ своему Содому обернется и столбомъ станетъ. Вотъ въ чемъ и будетъ заключаться весь успѣхъ этой салонной христовщины. Что намъ до этихъ чудодѣевъ? Они хотятъ не по низу идти, а по верху летать, но, имѣя, какъ пружи, крыльца малыя, а

чревища великія, далеко не залетятъ и не прольютъ ни сѣта вѣры, ни улады утѣшенія въ туманы нашей родины, гдѣ въ дебрь изъ дебри ходитъ *нашъ* Христосъ — благій и добрый и, главное, до того терпѣливый, что даже всякаго самаго плохенькаго изъ слугъ своихъ Онъ научилъ съ покорностью смотрѣть, какъ разоряютъ Его дѣло тѣ, которые должны бы сугубо этого бояться. Мы ко всему притерпѣлись, потому что намъ уже это не первый снѣгъ на головы. Было и то, что нашъ «Камень вѣры» прятали, а «Молотъ» на него нѣмецкаго издѣлія всѣмъ въ руки совали, и стричь-то, и брить-то насъ хотѣли, и въ аббатниковъ передѣлать желали. Одинъ благодѣтель, Голицынъ, намъ свое юродское богословіе указывалъ проповѣдывать; другой, Протасовъ, намъ своимъ пальцемъ подъ самымъ носомъ грозилъ; а третій, Чебышевъ, уже всѣхъ превзошелъ, и на гостининомъ дворѣ, какъ и въ синодѣ, открыто «гнилыя слова» изрыгалъ, увѣряя всѣхъ, что «Бога нѣтъ и говорить о Немъ глупо»... А кого еще впередъ срѣтать будемъ и что намъ готъ или другой новый пѣтухъ запоетъ, про то и гадать нельзя. Одно утѣшеніе, что всѣ они, эти радѣтели Церкви русской, ничего ей не сдѣлаютъ, потому что не равна ихъ борьба: Церковь неразорима, какъ зданіе апостольское, а въ сихъ пѣвняхъ духъ пройдетъ и не познаютъ они мѣста своего. Но вотъ чтò, господа, мнѣ кажется крайне безтактно, — это то, что иные изъ этихъ, какъ ихъ нынѣ стали звать, лица высокопоставленныя, или широкоразставленныя, нашей скромности не замѣчаютъ и ея не цѣнятъ. Это, поистинѣ скажу, неблагодарно: имъ бы не резонъ нарекать на насъ, что мы терпѣливы да смиренны... Будь мы понетерпѣливѣе, такъ Богъ вѣсть, не стали бы сожалѣть объ этомъ очень многіе, и больше всѣхъ тѣ, иже въ трудѣхъ не суть и съ человѣки ранъ не приѣмлютъ, а, обложивъ тукомъ свои лядви, праздно умствуютъ, во чтò бы имъ начать вѣрить, чтобы было только о чемъ-нибудь умствовать. Поцѣните же вы, господа, хоть святую скромность православія и поймите, что вѣрно оно духъ Христовъ содержитъ, если терпитъ *все*, чтò Богу терпѣть угодно. Право, одно его смиреніе похвалы стѣбитъ; а живучести его надо подивиться и за нее Бога прославить.

Мы всѣ безъ уговора невольнo отвѣчали:

— Аминь.

# Оглавленіе

VIІ ТОМА.

Обойденные. (Романъ).

	СТР.
Часть третья . . . . .	3
На краю свѣта . . . . .	101